

Борис Васильев

Утоли моя печали...

Глава первая

1

— Ну как, Наденька, прошел первый день в гимназии? — спросил Роман Трифонович сестру жены. Втайне он считал девочку своей воспитанницей. — Какие сделала открытия?

— Открытие одно, но зато огорчительное, — очень серьезно ответила восьмилетняя гимназистка.

— И что же тебя огорчило?

— Нам задали выдумать пример на сложение. Все девочки складывали яблоки, конфеты или плюшевых зайчиков с куклами, а я, дядя Роман, взяла да и сложила всех своих пятерых братьев и одну сестру. Знаешь, сколько им всем вместе лет? Сто сорок три года ровнехонько, можешь себе представить? А потом, когда я разделила общую сумму на свои восемь лет, получилось, что семья старше меня в семнадцать с половиной раз. В семнадцать с половиной! Это же ужас какой-то...

Наденька была так потрясена собственным открытием, что тяжело вздохнула и угнетенно покачала головой. А Роман Трифонович с трудом

спрятал улыбку.

— И как же оценили твой титанический труд?

— Меня похвалили и поставили «пять», но я все равно очень и очень расстроена.

— Отчего же, Надюша?

— Как же трудно быть младшей в большущей семье, если бы ты только знал, дядя Роман! В семнадцать с половиной раз труднее, чем обычной девочке с одним братом.

— И в самом деле, — Хомяков удивленно пожал плечами. — Как же теперь быть?

— Надо поступать по-своему, вот и все.

Наденька и впрямь оказалась самой младшей во всей рано осиротевшей семье Олексиных — даже Георгий родился на четыре года раньше, хотя остальные братья и сестры были погодками. И явилась-то Наденька на свет неожиданно-негаданно, получив все шансы стать балованной игрушкой для всей огромной семьи, если бы не череда последовавших трагедий.

Наденьке исполнилось всего два года, когда внезапно скончалась мама. Умерла вдруг, мгновенно, упав лицом в грядку, которую так упрямо любила полоть на рассвете. Умерла одна, а осиротели все одиннадцать: десять детей и отец, оставшийся без нежного всепрощения и преданной негромкой любви. А через год, защищая честь девушки, на дуэли погиб брат, портупей-юнкер

Владимир. За ним вскоре последовал отец, потрясенный и этой потерей, и сообщением, что его тайная гордость и надежда старший сын Гавриил Олексин угодил в турецкий плен, сражаясь за свободу Сербии. Из того плена Гавриил бежал сам, а вот из плена собственной чести убежать не смог и пустил себе пулю в сердце, не пожелав разделить с императором Александром Вторым политического предательства болгарского народа. А спустя два года сестра Маша прикрыла собственным телом бомбу, которую сама же и намеревалась метнуть в уфимского губернатора. Только в тот морозный солнечный день в санях рядом с губернатором оказались дети, а бомба уже была приведена в действие, и у Машеньки не оказалось иного выбора...

Так уж случилось в их семье: пять смертей за четыре года. Но семейные трагедии Наденьку в общем-то пощадили. И потому, что она была еще очень мала, и потому, что старшие берегли ее, как могли и умели. Для них Наденька навсегда осталась маленькой: обстоятельство, способное беспредельно избаловать натуру бездеятельную, но вселяющее непреодолимую потребность доказательств самостоятельности в натуре активной и весьма самолюбивой.

Из десяти братьев и сестер в живых осталось семеро, и шестеро из них покинули родимое гнездо.

В родовом имении Высоком теперь жил только Ваня, ныне — Иван Иванович, с успехом закончивший Петербургскую «Техноложку» сразу же после русско-турецкой войны. Он получил весьма выгодное казенное место в Варшаве, но затем ушел со службы из-за трагедии уже личного свойства. Служил землемером при Ельнинской управе, учительствовал, а выезжал редко и, как говорили, начал попивать.

А воспитывала Наденьку старшая сестра Варвара, супруга миллионщика Романа Трифионовича Хомякова. Впрочем, она всех воспитывала, кроме Гавриила да, пожалуй, Василия, но всех — со строго сведенными бровями, а Надю — с улыбкой, просто потому, что Наденька попала в ее властные руки еще во младенчестве. Дело в том, что Варвара внушила себе сразу же после кончины маменьки, что ответственна за семью отныне и навсегда, что это — ее крест, и несла этот добровольно принятый крест с достоинством, но не без гордости. Она обладала редким даром не предлагать помощь, а — помогать. Подставлять плечо под чужую ношу как-то само собою, без громких фраз, а тем паче — просьб. И когда ее единственная любовь — обобранный сановными казнокрадами Роман Трифионович Хомяков (еще в ту войну, двадцать лет назад!) явился к ней в Бухарест без копейки, сказав, что отныне она свободна от всех своих слов и

обещаний, Варя не оставила его, не бросила одного в чужой стране и в чужом городе. Не просто потому, что любила, любила не по-олексински, не очертя голову, а так, как способна была любить только маменька, одна маменька, простая крепостная девочка — раз и на всю жизнь, до гробовой доски, — но и потому, что вдруг ощутила себя сильнее самого Романа Трифоновича и со счастливым, полным ответственности и надежд сердцем взвалила на свою душу и его судьбу. Тут же сама, не торгуясь, распродала то, на что еще не успели наложить лап вчерашние компаньоны, и увезла Хомякова в спасительное родовое гнездо. В Высокое.

Тихим был тогда повелительно громкий, неутомимо азартный и преданно влюбленный в нее бывший миллионщик. Только глаза ни на миг не угасали:

— Встанем, Варенька, поднимемся. Врешь, нас и с ног не собьешь, и скулить не заставишь!

Заложили имение в селе Высоком, всего-то год назад выкупленное из прежнего, первого заклада тем же Романом Трифоновичем. Переписали заводик племянника на Варю, продали в Москве отцовский дом и все драгоценности — свои и маменькины, — купили задешево, по случаю, большую партию хлопка у разорившегося поставщика — сработали старые связи и прежние миллионные обороты удачливого доселе

предпринимателя Хомякова — и лишь тогда Роман Трифионович предложил Варю не только любящее сердце, но и супружескую руку.

— Раньше не мог, права не имел, ты уж прости меня. А за веру в меня и терпение твое я тебе такой дворец отгрохаю, что на наши вечера и великие князья в очередь записываться будут.

Обвенчались в старинной церкви села Уварова: мама очень любила эту тихую церковь, и Варя выбрала ее для самого счастливого дня своей жизни. Гостей было немного, только родные, но Варю это не огорчило. Она была на седьмом небе, да и Роман Трифионович прочно становился на ноги.

— Придется, Варенька, нам в мой городишко перебираться, в старый дом, — сказал он вскоре после свадьбы. — К фабрикам поближе: им глаз да глаз нужен, дела в гору пошли.

К тому времени уже тихо отошла тетушка Софья Гавриловна, в их московском доме всем заправляла верная Дуняша, а Высокое можно было оставить без особых тревог на Леночку. И Хомяковы уехали к своим во все трубы дымящим заводам.

2

О Леночке Надя знала только то, что ее в последнюю войну спас Иван, а Маша переправила

смертельно перепуганную девочку в Высокое. Только это, и ничего более. Никаких подробностей никто и никогда ей не сообщал, да Надя и сама не расспрашивала, сразу влюбившись в черноглазую гречанку, упрямо осваивающую русский язык. Была в Леночке какая-то притягательная тайна: она почти никогда не улыбалась, а в присутствии своего спасителя Ванички Олексина странно замыкалась, внутренне мучительно съеживаясь. Это, впрочем, не помешало ей стать хорошей заменой Варваре: она помнила и знала, что, как и в каком порядке следует делать в имении и, не обладая Вариной непререкаемой волей, восполняла ее неустанным вниманием. От ее огромных темных глазищ никогда ничего не ускользало, напоминания были тихими, точными и на редкость своевременными, и к ее голосу все почему-то стали вдруг прислушиваться.

«Очаровательная книга приходов и расходов» — так определил ее Георгий, к тому времени уже юнкер Александровского училища. И попытался было за нею приволокнуться, но получил от Ивана такую отповедь, что тут же и угомонился...

Наденька любила листать семейный альбом и вспоминать детство. С толстых глянцевых паспарту на нее смотрели добрые, умные, юные лица ее братьев и сестер — живых и уже покойных. Нет, не покойных. Беспокойных погибших.

«Олексины не умирают в постелях», — говорил отец. Она не помнила его, но ясно представляла по рассказам. Отставной гвардейский офицер, богатый помещик, родовитый дворянин, до безумия влюбившийся в крестьянскую девочку. Настолько, что, презрев свет и все его условности, обвенчался с нею, заперев самого себя в гордыне полного одиночества. Никуда не выезжал, никого не принимал, ни с кем не приятельствовал и никого не признавал, кроме своей Анички и овдовевшей сестры Софьи Гавриловны. И мама любила его таким, каков он был, в любви и нежности родив ему десять детей: семь мальчиков и трех девочек. И она, Наденька Олексина, завершила эту мамину щедрость.

Отец и мама тоже умерли не в постелях, но их фотографий в альбоме не оказалось: отец терпеть не мог новомодных штучек. Было два портрета хорошей кисти в большой гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком. Суровый мужчина с горделиво вскинутым подбородком и милая синеглазая крестьяночка с ямочками на тугих, как антоновка, щеках. А фотографии братьев и сестер были все до единой: за этим очень следила Варя. Даже фотография Владимира, раньше всех погибшего на дуэли...

А потом Наденька переехала в Москву, и ее тут же отправили в самую дорожную частную

гимназию мадам Гельбиг: на этом настояла Варя. В ней учились на целый год дольше, чем в обычных, и каждый день — два раза по полчаса — занимались противной немецкой гимнастикой. Надя ее терпеть не могла, но старалась изо всех сил, потому что Николай — к тому времени уже юнкер — сказал:

— Гимнастика — тренировка воли, а не тела. Через «не могу», «не хочу», «не желаю».

— А зачем женщинам воля? — Наденька безмятежно пожалала плечиком. — Женская сила в нежности.

— Воля — основа культуры. Животные ею не обладают, Наденька, потому что им незачем обуздывать свои страсти.

До страстей было, правда, еще далеко, но Надя совета послушалась. Может быть, потому, что любила Колю чуть-чуть, самую чуточку больше остальных братьев. За подкупающую непосредственность.

— Это у него от мамы, — говорила Варвара. — Наша мама, царствие ей небесное, была непосредственна, как сама природа.

Ваня тоже был непосредственным и увлекающимся, но... Все в нем сгорело, когда Леночка, уже дав согласие стать его женой, внезапно сбежала чуть ли не с первым встречным, и Иван недолго продержался после этого. Стал

попивать, потом оставил службу, заперся в Высоком, как когда-то отец в Москве. Только отец за жизнь в добровольном затворе получил любовь и детей, а Иван — тоску и пьянство, постепенно превращаясь в «шута горохового».

Так называл Ивана Федор, и Наденька относилась к преуспевающему братцу Федору с прохладцей. О нем, вообще, избегали говорить в семье, и она понимала почему. Федор Олексин определил смысл собственной жизни как восхождение по лестнице чинов и званий, полагая карьеру единственной высокой целью. Прочие же полагали целью жизни служение народу, личное достоинство или незапятнанную честь, хотя об этом и не говорили. А о карьере говорить приходилось, поскольку такая цель не выглядела самодостаточной в умах и настроениях общества и, следовательно, требовала объяснений. И Федор неустанно толковал о собственных успехах, скорее оправдываясь, нежели объясняясь.

— Понимаешь, товарищ министра попросил. Именно попросил ради пользы государства. Можно ли отказать было?

Карьера всегда оправдывалась только делами государственными, а все остальное — даже служба в армии — в оправданиях не нуждалось, воспринимаясь естественно, как воспринимался долг. Наденьке как-то сказал Василий, что отец

очень любил повторять старшим — ему, Гавриилу, Владимиру и Федору:

— Занятия, достойные дворянина, — шпага, крест да книга.

Шпагу избрало большинство ее братьев: погибшие Владимир и Гавриил, теперь — Георгий и Николай. А Федор, поначалу цепко ухватившись за нее, вскоре, однако, заменил шпагу мундиром, но Олексины внутренне не восприняли этой замены. И не могли воспринять.

Впрочем, не все одинаково. Николай скорее жалел брата, углядев в его выборе роковую ошибку, и всячески старался растопить образовавшийся семейный ледок:

— А так ли уж волен человек в своих желаниях? Иногда обман зрения манит ярче, нежели то, что есть на самом деле.

Генерал Федор Иванович изо всех сил сдерживал личные обиды, но от тесных семейных связей все же как-то отошел. Исключение было одно: теплее всех он относился к Николаю. И не только потому, что тот искренне стремился хоть как-то оправдать его карьерную целеустремленность, а скорее за саму искренность. И когда Николай, отнюдь не шедший под первым номером в училище, лишен был права выбора места службы по выпуску и довольствовался заштатным гарнизоном, Федор сделал все, чтобы через

положенные два года службы по распределению перевести его в Москву.

Правда, с точки зрения Вари, это было сделано поздно. Николай успел жениться в той Тьмутаракани, где служил, и привез с собою очаровательную провинциалочку из мещан. Ко времени возвращения этого семейства Хомяков уже успел отгрохать в центре Москвы особняк, поразивший своей оригинальностью не только горожан. И в светском обществе зашептались:

— Какая безвкусица!

— Что ж вы хотите, миллионы демонстрируются.

— Демонстрируется золотой зуб в белоснежной улыбке первопрестольной.

— Фо па¹, господа. Фо па!

А мещаночка Анна Михайловна потеряла голову в первое же посещение:

— Я деткам своим буду рассказывать про ваше великолепие!

Варю это сразило наповал, однако брат оставался братом. Анна Михайловна приехала в первопрестольную, как говорится, в интересном положении, но роды оказались не совсем удачными. Девочка Оленька получила легкую хромоту на всю

¹ Напрасно, зря (фр.).

жизнь, а ее родители — тяжкое ощущение вины.

А крест, о котором говорил отец, как о достойном дворянина занятии, достался Василию. Вольнодумцу, идеалисту, деятельному народнику в прошлом, искренне пытавшемуся заменить веру в Бога верой в людей. Замена не удалась, он вернулся к Богу, но иной, неофициальной тропой. Познакомившись и сблизившись с графом Толстым, уверовал в его учение и строго следовал ему примером личной жизни, без проповедей и колокольного звона утверждая заветы гениального своего друга и Учителя. И все в семье понимали, что избранный Василием крест был куда тяжелее всех прочих.

— Понимаешь, церковь взвалила крест на плечи Господа и стрижет купоны, пока Христос в муках тащит крест на Голгофу. А наш Вася взвалил этот крест на собственную спину и сам несет его на свою Голгофу.

Так сказал Наденьке Иван, умница Ваничка, когда она приехала в Высокое помечтать и подумать перед началом последнего гимназического года. Он и тогда выпивал, но еще не спился с круга и, как показалось Наде, еще способен был верить в чудо. Во внезапное, как в сказке, возвращение Леночки. Наденька поняла это ожидание, и зная, что чуда не будет, почему-то начала готовить брата с несколько необычной

стороны:

— А зачем Бог, когда все пружины заведены?

— Извини, сестренка, что-то я не очень тебя понял.

— Дядя Роман подарил мне часы с фигурками: от одной до двенадцати. Когда я завожу пружину, они каждый час начинают вальсировать. А жизнь — это же и есть заведенный Божьей пружинкой вальс. И когда подходит твой час, ты просто начинаешь танцевать, и тебе уже не нужен никакой Бог.

— Батюшки, как же изящно ты мне все объяснила, — улыбнулся Иван.

Наденька была рада, что он улыбнулся. Уж очень редко теперь появлялась улыбка на его заросшем исхудалом лице.

А вот с книгой — в отцовском понимании — никто из Олексиных так и не встретился. Не стал ни писателем, ни мемуаристом, ни журналистом, ни даже книгоиздателем. И тогда, в Высоком, Надя часто думала об этом, хотя подружки по гимназии думали совсем о другом.

3

— А он что сказал?

— А он так посмотрел, так посмотрел!

Все девичьи интересы вертелись вокруг «что

сказал» и «так посмотрел», и Наденькины тоже. Но на нее почему-то никто из мальчиков «так» не смотрел, и это было обидно до слез.

Еще в четвертом, что ли, классе подружка пригласила ее погостить в их подмосковном имении, и Варя разрешила. Там было много детей, но самое главное, там был «Он». Тот, который просто обязан был, по ее разумению, «так посмотреть». Наденька томно вздыхала, кокетливо обмахивалась веером, закатывала глаза и даже мелко-мелко рассыпала смешок, как то советовали подружки.

— Ах, как это забавно! Право, забавно!

А он не смотрел. Приносил по ее просьбе лимонад, шоколад, зонтик, специально забытую книжку, но смотрел на другую девочку. Этакую толстую дылду, совершенно неинтересную, с Надиной точки зрения. Она отревывалась по ночам, а с утра начинала все сначала.

— Как вам нравится «Манон Леско»?

— Неопределенно, мадемуазель.

— Помните, там...

— Извините, не помню. И позвольте откланяться.

И тут же устремлялся на вызывающий хохот дылды. Катал ее на качелях, а Наденьку не катал. Ни разу. Причем не катал именно «Он» — другие катали. Но другие, они другие и есть.

Требовалось предпринять нечто экстраординарное, и Наденька решила пропасть, потеряться. Пусть побегают, тогда заметят. И после ужина спряталась в саду.

Вечер был теплым, комары кусались, как оглашенные, но Наденька терпела. Стали звать — все равно молчала. Темнело быстро, поднялся ветер, зашелестел сад, и все бросились на поиски.

Когда тебя ищут, значит, беспокоятся, и это — приятно. Сразу делаешься центром внимания без особых хлопот, если хорошо спряталась. А спряталась она очень даже хорошо, правда, к большому сожалению, не от комаров.

— Надя!.. Наденька!..

— Мадемуазель Надя!..

Надя терпела, пока возле ее куста не оказался «Он». Тогда воскликнула «Ах!..» и вывалилась прямо к его ногам.

— Боже, вы — мой спаситель!..

А спаситель, вместо того чтобы нежно поднять ее с земли, отскочил в сторону и стал кричать. Как паровоз:

— Тут! Тут! Тут! Тут!..

На другой день Наденьку отправили в Москву, но она не долго расстраивалась. Как-то очень просто и быстро поняла, что подобные забавы не для нее, что в них она успеха не добьется и, следовательно, нужен иной путь для

самоутверждения. Не общий для всех девочек, а — личный. Путь Надежды Олексиной, а не истоптанная вседевичья дорога. И вскоре нашла этот свой, особый путь.

— Но высший балл за домашнее сочинение «Мотивы Чарльза Диккенса в творчестве раннего Достоевского», как всегда, у Надин Олексиной, — почти торжественно начал вскоре провозглашать преподаватель русской словесности Константин Фролович Березанский.

А тет-а-тет убеждал:

— У вас явные способности к сочинительству, мадемуазель Олексина. И, как ни странно для вашего возраста, к прозе, а не к поэзии. Но прозе поэтической. Трудитесь на этом поприще, испытайте его. Оно потребует много труда, может быть, столько, сколько не требуют иные сферы приложения духовных сил, но я верю в вас, Надин.

Надя много писала в последних классах гимназии. Девочки тоже писали, но — стихи, и непременно читали их вслух, а потом переписывали друг другу в альбомы. Альбомы стихов — собственных и посвященных — были непременным атрибутом женских гимназий, доброй старой традицией закрытых пансионов и институтов, и Наде пришлось-таки сочинить нечто, чтобы не обижать подружек. Но поскольку она не признавала рифм вроде «пошел — нашел» или «грозы —

морозы», а искать новые не было времени, то и обошлась белыми стихами. Это произвело впечатление, и стихи старательно переписывали в каждый девичий альбом, особенно восхищаясь заключительными строками:

А соцветия черемух,
Точно гроздья винограда...
Может, лучше: «Винодара»?
Ведь вино надежды дарит
Май в кипении черемух!..

Но альбомные стихи и оставались альбомными, а потому Надю удовлетворить не могли. Да и сочинялись уж очень легко и просто. А проза — трудно и медленно, с бесконечными пометками и переписываниями. И Наденька боготворила прозу, поскольку была самолюбива и жаждала достойной этого самолюбия победы.

В выпускном классе она в одну ночь неожиданно сочинила рождественскую сказку про бедного мальчика, потерявшего шапку в лютый мороз. В изначальном варианте мальчику помогла добрая фея, но через неделю Надя решительно сожгла в камине свое первое творение, никому, к счастью, его не показав. И трудно, с бессонными ночами, слезами и напряжением до головной боли переделала благостную сказочку в суровый рассказ.

Как загулявшие бездельники на пари на всем скаку кнутом сбили с мальчика шапку. Как мальчик бежал за ними, умоляя вернуть эту шапку, на беду свою попал в незнакомые богатые кварталы, где за каждым окном сверкали нарядные елки, а вокруг весело и беззаботно танцевали сытые карнавальные маски, и мальчик напрасно искал между ними обыкновенное человеческое лицо. Как мальчик, замерзая, робко стучался в равнодушные парадные подъезды, а самодовольные лакеи ругали его и гнали прочь. Как, в конце концов, он оказался в городском саду и заснул под елью в сугробе. И какой прекрасный рождественский сон снился ему в этой смертной постели. Какой мягкий, нежный, волшебный снег беззвучно сыпался на него всю ночь, и как нашли несчастного мальчика только через три дня, и как все удивлялись доброй улыбке, застывшей на его ледяных устах...

Конечно, Наденька понимала, что за ее плечом незримо присутствовал сам Некрасов: «А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне...», но найти собственный финал не смогла и в таком виде рискнула показать рассказ Березанскому. И пока он читал, сердце ее стучало так часто и, как ей казалось, так громко, что она чуть не шлепнулась в обморок.

— Позвольте, мадемуазель, взять этот рассказ с собой, — как-то озадаченно, что ли, сказал

Березанский. — Здесь есть над чем подумать.

— Сделайте милость, Константин Фролович, — сдавленным голосом еле выговорила Наденька.

— Благодарю вас, Надин. Верну в понедельник непременношим образом.

Вероятно, так бы оно и случилось, только от всех трудов и волнений Наденька заболела. Домашний врач определил очень модное в те времена нервное истощение, прописал успокоительное, рекомендовал отдых и даже постельный режим. Варвара тут же уложила в постель, отобрала книги и читала Наде сама. А вечерами ее сменял всегда по горло занятый Хомяков.

К Роману Трифоновичу у Нади было совсем особое, не родственное, что ли, а почти восторженное отношение. Она отлично представляла себе, что Хомяков создал не просто капитал — это не считалось в семье Олексиных каким-то особенным достижением, о котором стоило бы упоминать, — нет, он создал нечто несоизмеримо большее. Роман Трифонович Хомяков создал самого себя практически без всякого трамплина. С нуля. А к подобным людям Наденька относилась не только с огромным пиететом, но с трепетом и восторгом. Вчерашний мужик обладал столь неординарными

способностями, столь негибкой волей и жадной триумфа, что, по девичьему разумению, являл собою образец нового «Героя нашего времени». Втайне она мечтала когда-нибудь (разумеется, когда подчинит себе непокорный, как степной аргамак, русский язык и станет настоящей писательницей) написать о нем роман. Иными словами, Роман Трифионович Хомяков уже оказался героем девичьего ненаписанного романа, не подозревая об этом ни сном ни духом. И еще он оказался единственным, кого Надя с детских лет называла дядей. А он сам — единственным, кто звал ее почти по-крестьянски: Надюшей, а не Наденькой, как то было принято в их кругу.

Самая крупная размолвка произошла между ними, когда Роман Трифионович решил отправить сыновей-погодков учиться в Германию, вместо того чтобы подыскать им хорошую частную гимназию в Москве. Варвара умоляла и плакала, плакала и умоляла, а Наденька взорвалась и обозвала Хомякова бессердечным мужланом.

— Насчет мужлана это, Надюша, точно сказано, — вздохнул он. — Только ведь потому и отсылаю, чтобы ребята мои в свой адрес такого слова никогда не слышали. А здесь — в Москве ли, в Петербурге ли — услышат, да и не раз. Я души их сберечь хочу, потому и от своей и от Варенькиной их отрываю.

И Надя все поняла. Принесла Роману Трифоновичу свои извинения, как могла, утешила Варвару, и погодки Хомяковы уехали в Германию с гувернером и двумя слугами. И в огромном хомяковском особняке опять воцарился мир.

— Русская литература, Надюша, оказала России неоценимую услугу. Она подготовила нас, как плебеев, так и патрициев, к реформам государя Александра Второго. Смелые начинания пошли сравнительно легко только потому, что Россия была готова к ним духовно. Литература приучила дворянство к мысли, что крепостной тоже человек, а простой люд — к пониманию, что дворянин не просто барин с плетью, а такой же русский страдалец, только образованный и в мундире. Поэтому бородачу в сапогах, — Хомяков только так именовал императора Александра Третьего в частных разговорах, — и не удалось повернуть Россию вспять, а лишь придержать ее развитие. Он, так сказать, взял Россию под уздцы, что сама Россия по своему крестьянскому представлению о строгом барине любит и всегда будет любить.

Как правило, Варя читала Наденьке прозу, а Роман Трифонович — только стихи. Он их очень любил (в особенности Некрасова), знал во множестве.

Вынесет все — и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе...

Надя вернулась в гимназию лишь через десять дней: в обществе тогда любили болеть со вкусом. И Константин Фролович Березанский с улыбкой сказал:

— А рассказ «На пари» я верну вам, мадемуазель, в напечатаном виде.

Оказалось, что он показал ее первое творение редактору «Задушевного слова». И через некоторое время Наденька с невероятным торжеством притащила журнал домой. Он был еще не разрезан и хранил в себе необыкновенный, ни с чем несравнимый аромат свежей типографской краски.

— Вот гонорар, — сказала Надя, высыпав из кулака на стол тринадцать рублей с копейками.

— Прокутить! — воскликнул Хомяков, сияя пуще Наденьки. — Сегодня же! Выбирай ресторан, Надюша!..

— «Эрмитаж»! Там собирается вся богема!

Покатили в «Эрмитаж», а на другой день Хомяков велел купить сто двадцать пять экземпляров журнала. Одарили всю родню и всех знакомых, а двадцать пять номеров Роман Трифонович оставил у себя и вручал особо приятным ему людям.

— Приемная дочь написала. Жорж Санд растет, господа!

4

На волне этого внезапного успеха, успеха «вдруг», вроде бы ничем не подготовленного, Наденьку понесло со счастливой головокружительной быстротой. Она как-то очень поспешно, но тем не менее первым номером закончила в гимназии (и в аттестате официально отметили, что закончила она именно «первым номером») и с невероятным подъемом принялась строчить рассказы. Ей казалось, что идей у нее — великое множество, что стоит только их занимательно записать и успех обеспечен. И увлеченно писала то, что ей представлялось идеями, и сама потащила восемь таким образом сочиненных рассказов по редакциям, ничего, естественно, не сказав родным.

А рассказы не приняли. Где — вежливо, где — резко, не очень церемонясь. Обескураженная Наденька рыдала два дня, наотрез отказалась поехать в Высокое, чтобы развеяться и отдохнуть, и на четвертый день к ней заглянул Роман Трифионович, отменив три очень важных деловых встречи.

— Знаешь, почему это случилось? Потому что

ты использовала в своем первом рассказе весь накопленный багаж. Литература — не сюжетики, литература — а русская в особенности — запас идей. А он тобою, Надюша, извини, исчерпан. Новые идеи ты можешь обрести только в жизни или мучительным путем самообразования. Не торопись, закончи курсы, и все образуется.

— Я лучше пойду в народ!

Хомяков грустно улыбнулся:

— Народ — это не миф, это — живые люди, и я — один из представителей. Но я учился. Сам. Мучительно, до головокружения, чтобы выйти из той массы, которую мы именуем народом. Выйти, Надюша, потому что масса эта закоснела и способна жить только по инерции. Чтобы понять причины этой закоснелости, необходимо получить хорошее образование — с налета, по интуиции ни в чем не разберешься, ничего не поймешь, и суждения заведомо окажутся неверными. И мой тебе совет: иди-ка ты на курсы, девочка.

Но Наденька была упряма, и так просто, по первому совету изменить свою жизнь не могла. Все сожгла, пострадала, помучилась и в конце концов сочинила сказку, которую напечатал уж совсем малоавторитетный журнал.

А сказка была о том, как в половодье на сухой остров перебрались маленькие звереныши. Так сказать, дети взрослых. Медвежонок и Лисенок,

Барсучонок и Зайчик, Волчонок и Сорока. И как ради выживания они решили, что у них будет справедливое содружество, чтобы никто никого не съел. Президентом выбрали Мишу-медвежонка, Лизонька-лисичка сама напросилась на должность главного поставщика продуктов, Боря-барсук взял на себя строительство нор и убежищ, Зойка-зайчишка обещала доставлять овощи, Вовка-волчонок решил отвечать за всеобщую безопасность, а Серафима-сорока заверила всех, что будет регулярно сообщать, что творится в мире.

Естественно, ничего доброго из этого не вышло. Медведь спал и сосал лапу. Лисичка приносила четверть необходимого, лично съедая остальное. Барсук старательно рыл глубокие норы, в которые никак не могли влезть ни медведь, ни волк, а сорока влезать просто не пожелала. Зайчонок лопал всю морковку, которую должен был доставлять к общему столу. Волчонок гонял всех пришлых зайцев, с аппетитом похрустывая косточками тех, кто не смог от него увернуться, а сорока разносила только сплетни. Кончилось тем, чем и должно было кончиться: островная демократия перестала существовать, сожрав саму себя.

Эту сказку напечатали в «Гусляре», самолюбие было удовлетворено, и Наденька послушно поступила на курсы.

И эти курсы оказались частными по настоянию Варвары, и там учили на год дольше всех остальных. Учили по европейской системе, требуя собственных рефератов, и у Нади не оставалось времени на сочинения просто потому, что она не желала да и не умела быть второй. И закончила первой, что и было отмечено в свидетельстве о ее праве преподавать русскую словесность в городских училищах и прочих, им соответствующих учебных заведениях.

Но на курсах Надежда прослушала обширный цикл лекций о журналистике, и это произвело на нее огромное впечатление. Эти лекции подвели логический фундамент под слова авторитетнейшего ее советчика Хомякова о постижении народной души. И Наденька твердо решила, что сначала станет известной журналисткой, а уж потом, набравшись идей, и писательницей.

Выбор был сделан.

Выбор был сделан — только не сердцем, а умом, потому что сердце оказалось занятым приятелем Георгия еще по юнкерскому училищу. Доселе Наденьке не случалось влюбляться — не считать же объектом влюбленности «паровоз», закричавший «Тут! Тут!», вместо того чтобы бережно поднять с земли обретенную пропажу. Ну, были, конечно, девичьи увлечения, легкие и приятные флирты, кокетливые, ни к чему не

обязывающие свидания. А тут вдруг — усы, шпоры, сабля, и к тому времени уже золотые офицерские погоны. Голова пошла кругом, и все мечты о сочинительстве мгновенно из нее выветрились. Осталась одна мечта, но зато вполне практическая — наконец-то впервые в жизни услышать самые главные, самые заветные слова: «Надин, дорогая моя Надин, я люблю вас!..»

Выражаясь девичьим альбомным стилем, Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу. Курсы, естественно, были женскими, но бал женским быть никак не мог, и поэтому курсовое начальство рекомендовало каждой курсистке самой позаботиться о танцевальных партнерах. Надя пригласила Георгия, а он притащил с собой приятеля, что в результате и привело к некоторым серьезным осложнениям. Как внешним, так и внутренним.

Бал, как и полагалось, открылся вальсом, и Наденька, как и полагалось, первый тур танцевала с приглашенным ею кавалером, в данном случае — с Георгием. Зато три последующих — с его приятелем, и это было восхитительно. Молодой офицер оказался живым и остроумным, легко шутил и легко болтал, и Наденькино сердце от тура к туру билось все чаще, а щеки горели все ярче. Но апофеозом бала, как и полагалось, должна была стать мазурка, в которой Надя — все сокурсницы

признавали это (естественно, не без столь же естественной зависти) — не знала себе равных.

По желанию раскрасневшихся курсисток была объявлена большая мазурка, предусматривающая выбор партнерши из двух предложенных «качеств» перед третьей фигурой. И Наденька подвела свою подругу к двум приятелям — подпоручикам.

— Вечная разлука или вечное одиночество? — чуть ли не хором спросили они.

Георгий, разумеется, вежливо уступил право выбора своему гостю, на что, собственно, и рассчитывала Надя. А гость, не задумываясь, брякнул:

— Вечное одиночество!

А это самое «вечное одиночество» было «качеством» подружки Катрин, особы довольно ветреной, но весьма симпатичной. И Наденька была вынуждена отплясывать с родным братом. Правда, Георгий танцевал отменно, и все же это оказалось первым уколом.

И второй не замедлил воспоследовать — во время выбора «качества» среди кавалеров. Офицеры пошушукались, и дружно шагнули к девушкам:

— Награда или удача?

Более шустрый приятель опередил Георгия с вопросом и задал его Катрин, которой поэтому и надлежало выбирать.

— Удача!

И Наденьке вновь пришлось танцевать с братом, что было уж совсем обидно. Настолько, что она вдруг припомнила, как прозвучал сам выбор «качества»: неожиданный гость задал вопрос первым, не согласовав очередности с Георгием, что в известной мере противоречило общепринятым правилам, хотя и не возбранялось.

— Почему ты уступил своему приятелю право на выбор? — сердито спросила Наденька.

— Да просто потому, что меня твоя подружка не заинтересовала, а его, кажется, наоборот.

И Надя получила третий удар по самолюбию, уже от родного брата. Это было чувствительно настолько, что она даже сбилась с шага. К счастью, музыка смолкла, перед второй частью большой мазурки объявили перерыв, чтобы девушки могли поправить прически и туалеты, и Наденька сразу же прошла в дамские комнаты.

А симпатичная — ну, это, как говорится, дело вкуса — подружка Катрин появилась в них с непозволительным опозданием. Влетела, переполненная восторгом, так и сияя.

— Он угощал меня в буфете!..

— Волосы поправь, — сухо вато посоветовала Надя.

— А как он танцует, как танцует!

— Возможно, — сказала Наденька и вышла в

зал. Во второй части мазурки выбора «по качеству» уже не было. Надя оттанцевала две фигуры с братом, а от третьей отказалась, сославшись на усталость, и весь бал приобрел вкус лимона без сахара.

Вероятно, Георгий что-то все же сообразил, потому что уже на следующий день притащил своего приятеля на ужин к Хомяковым. И Наденька распустила перышки, намереваясь во что бы то ни стало взять реванш. Болтала, шутила, смеялась — словом, флиртовала вовсю.

А он молчал. Противный подпоручик Сергей Одоевский. Да, да, из тех самых князей Одоевских, только не князь, поскольку происходил из боковой ветви огромного развесистого генеалогического дерева знаменитых потомков самого Рюрика. Молчал весь первый вечер и мало говорил в последующие. И Наденька частенько рыдала в подушку, вместо того чтобы размышлять о журналистской карьере.

— Наконец-то счастливые слезы, — с удовлетворением сказала Варвара, не вовремя войдя в спальню младшей сестры. — Слава тебе, Господи. Все естественное — разумно.

— Я его ненавижу!

— Ну и правильно делаешь.

— Он... Он — пшют и фанфарон!

— И здесь все правильно. Природа играет по

отработанным правилам, сестричка.

— Идиотские правила!

— Возможно. Но, право, будет жаль, если их отменят. Для всех — жаль, а для девушек — катастрофа.

— Господи, о чем ты, о чем...

— Девушки все одинаковы, потому что они — дочери естества, самой природы, а юноши — продукт цивилизации, только и всего. Отсюда — женские моды: наша попытка подать свое естество в оболочке современности. И брак на небесах — это равновесие природы и цивилизации, гарантирующее его прочность и неуязвимость.

— А как же... — Надя всхлипнула. — Как же любовь? Хочешь сказать, что ее нет?

— Не хочу, потому что она есть. И слава Богу, что есть. Только... Как бы тебе объяснить? Любовь — это всего лишь увлечение. В легкой форме — увлечение, в тяжелой — ослепление. А строить семью на ослеплении по меньшей мере глупо. Семья, построенная на ослеплении, подобна плоскодонному кораблю, который непременно перевернется при первой же буре. Любовь есть невероятное по мощи влечение душ друг к другу. Душ, а не взыгравшей плоти, Наденька. Прости меня за столь грубое сравнение, но ты уже взрослая и должна понимать, что я имею в виду.

— А я не понимаю!

— Для плотского влечения существуют гетеры, а в просторечии — прости господи. Еще раз извини.

— Но я же...

— Не стоит утолять голод зелеными яблоками, лучше и полезнее погодить, пока они созреют. Воля, Надежда, только воля и одна лишь воля есть основа лучшей части человеческого общества. Умейте властвовать собой, мадемуазель.

— Но я не желаю...

— Воля и желание — антиподы. Необходимость и воля — синонимы. Об этом нельзя забывать людям, считающим себя образованными, если образование для них не просто набор знаний, а повышенная обязанность перед обществом.

На этом тогда и закончился разговор двух сестер, старшей и младшей. Сказать, что Наденька во всем согласилась с Варварой, было бы неправдой: наоборот, она почти все отвергла, с легкостью отнеся Варю к возрасту, который просто не в состоянии понять современную молодежь. Но так случилось, что дней через пять, что ли, как-то сама по себе завязалась беседа с Романом Трифоновичем.

— Подпоручик Одоевский? — настороженно переспросил Хомяков, когда Наденька — естественно, вскользь, разумеется, между прочим

— упомянула о Рюриковиче в разговоре. — Мне что-то днями рассказывал о нем наш Жорж. Что-то скверное, из-за чего Жорж и перестал с ним приятельствовать. Кажется, речь шла о передергивании в картишки.

— Неправда! — Надежда залилась гневным румянцем. — Это... это гнусная клевета. Георгий просто завидует ему, вот и все!

— Пылу много, а логики явно недостаточно. Из твоих слов вытекает, что твой брат способен на ложь?

— Вероятно, он проиграл Одоевскому крупную сумму и теперь чернит его на каждом шагу.

— Вероятно или достоверно?

— Оставьте меня! Вы все просто несовременные люди! Вы отстали, понимаете? Отстали на полвека с вашей моралью!..

Аргументов больше не оказалось, и Надежда прибегла к последнему, закатив громкую истерику с падением на пол. Это было так на нее непохоже, что Роман Трифионович очень испугался и позвал горничную Наденьки.

Об этой горничной, которую все в доме звали почему-то Грапой, а не Груней, следует рассказать особо. Она заменила долго служившую у них Полю, поскольку Поля вышла замуж, и в признание ее несомненных заслуг Хомяков купил молодым

домик на окраине Москвы. Замена произошла как-то очень уж стремительно, по рекомендации через третьи руки; новая горничная казалась торопливо приветливой и поспешно услужливой, никто на нее не жаловался, почему она и прижилась в доме. Варвара считала, что Грапа способна оказать на Наденьку благотворное влияние, потому что ей было уже за тридцать, а Роман Трифонович ориентировался на отзывы Надежды, всегда находившей добрые слова о своей горничной. И все шло хорошо, пока через несколько дней после Надиной демонстративной истерики дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо — старый и проверенный помощник Хомякова еще со времен последней войны — не доложил своему патрону с глазу на глаз:

— Сегодня в пятом часу утра из нашего дома тайно вышел подпоручик Одоевский. Полагаю, что от Надежды Ивановны.

— Сам видел?

— Лично. А Мустафа ему ворота открывал.

Роман Трифонович переполошился не на шутку.

Отправил Варвару к Надежде с категорическим приказом добиться разъяснений и лично допросил горничную Грапу. Горничная избегала смотреть в глаза, однако на все вопросы отвечала без запинки:

— Знать ничего не знаю. Спала я, барин.

Варе повезло больше, поскольку Наденька, быстро осознав, что она натворила, безостановочно плакала, тихо бормоча:

— Я преступница, преступница, но теперь он непременно женится на мне.

Выяснение отношений с бесчестным соблазнителем и проблематичным женихом решено было поручить подпоручику Георгию. Он ввел его в дом, он представил его Надежде, ему и должно было расхлебывать кашу. И пока Варвара всячески урезонивала грешницу, Георгий, бледный от накотившего бешенства, разыскивал бывшего приятеля.

5

Разыскать подпоручика оказалось непросто, поскольку своего дома он не имел, а квартировал у многочисленных родственников, чередуя их по одному ему известной системе. В полку его тоже не оказалось, потому что он числился в краткосрочном отпуску по болезни. В конце концов Георгий, впустую потратив три дня, разыскал его в низкого пошиба биллиардной на Ильинке.

— А, Жорж! Рад тебя...

— Извольте выйти со мною, Одоевский.

— Боже, как торжественно!

— Извольте выйти со мной, — сквозь зубы повторил Георгий.

— А, собственно, ради чего? — Одоевский нагло вато улыбнулся. — Твоя сестра, насколько мне известно, достаточно взрослая, чтобы решать, с кем и зачем...

Георгий молча ударил его в лицо. Это была не принятая в обществе пощечина, а увесистый удар кулаком сына крепостной крестьянки. Одоевский отлетел в угол, лицо его залила кровь.

— Присылай секундантов, подлец. Если трусишь, избыю до полусмерти.

Дуэли были запрещены, и Георгий отлично представлял, что рискует карьерой. Но он не только любил Надежду, но и отвечал сейчас за фамильную честь.

Секунданты — мало знакомый Георгию капитан и совсем незнакомый подпоручик — явились на следующий день. Сухо, но вполне корректно, как то и предусматривал дуэльный кодекс, договорились о месте и времени: речка Сходня, в полуверсте от Черной Грязи, шесть утра. Подпоручик Одоевский, как лицо оскорбленное, в качестве оружия избрал револьверы служебного образца.

— Чтобы труднее было найти следы дуэлянтов, если чья-то рана вынудит обратиться в госпиталь, — пояснил капитан.

Это было разумно: револьверная пуля относительно дуэльной оставляла иные последствия, которые к тому же легко было объяснить неосторожным обращением со служебным оружием. Кроме того, оскорбленная сторона брала на себя заботы о докторе, что выглядело не совсем обычно, но Георгий объяснил себе эту необычность заботливостью немолодого капитана.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли домашним, чтобы Николай — к тому времени уже штабс-капитан — упаси Бог, не оказался замешанным в противуправном поступке. Поэтому и секундантов нашел среди полковых приятелей, попросил их заехать за ним в старый олексинский дом, а вечером навестил Хомяковых. Затея была рискованной, но он чувствовал потребность побыть среди родных накануне пальбы боевыми патронами. Варвара оказалась у Нади, и Георгия встретил один Роман Трифионович.

— Нашел его?

— Нашел.

— Когда?

— Что — когда?

— Ну зачем же меня-то обманывать, Жорж? — усмехнулся Хомяков.

— Завтра. Смотри, Роман Трифионович, ни полслова.

— Завещание будешь писать?

— Нет.

— Правильно. Дурная примета.

К тому времени Роман Трифонович уже выгнал Грапу взашей и без рекомендаций: он был беспощаден к нечестным слугам. Но без горничной, а особенно сейчас, Надя обойтись не могла, и Хомяков нанял таковую лично, не прибегая к услугам даже верного когда-то помощника, а теперь дворецкого Евстафия Селиверстовича. Взял сразу и без колебаний, потому что искомая горничная понравилась ему с первого взгляда: миловидная девушка, скромная и понятливая и — с толстой, пшеничного цвета косой ниже пояса. Звали ее Феничкой, она уже имела некоторый опыт, послужив в весьма приличном доме, из которого ее и сманил Роман Трифонович, предложив чуть ли не двойное жалованье. И, как ни странно, главным в его решении оказалась коса, хотя в этом Хомяков не признавался даже самому себе: он питал невероятную слабость к девичьим косам пшеничного цвета.

Утром следующего дня секунданты заехали за Георгием в назначенное время. Он молча трясся в наемной пролетке, и мысль о Владимире назойливо преследовала его, как осенняя муха. Вот так же точно, как сейчас представлялось ему, двадцать лет назад его брат портупей-юнкер Владимир спешил

на дуэль, с которой ему не суждено было вернуться. Мысли были не из приятных, но — не пугали: Георгий думал не о сходстве ситуаций, а об их принципиальной разнице. Он мучительно размышлял, как же отвести от Наденьки все светские сплетни и пересуды. Застрелить Одоевского? Но это только подогреет слухи, заставит сплетниц копать глубже, через прислугу, подкупы, посулы. Кроме того, ему придется поставить на военной карьере жирный крест — крест, который перечеркнет все его мечты. Нет, убивать соблазителя не следует ни в коем случае. Но тогда — что? Что?.. Как отвести позор от сестры? Как?.. Он думал и поэтому был спокоен, но разговаривать ему не хотелось.

— Господа, — сказал капитан. — Пока не случилось ничего непоправимого, прошу вас принести друг другу извинения, пожать руки и разойтись с миром.

— Это сложно, капитан, — криво усмехнулся Одоевский. — Я оскорбил Олексина нравственно, а Олексин меня — физически. Никакие извинения приняты не будут, хотя я, со своей стороны, готов признать, что был не прав.

— Только и всего? — спросил Георгий.

— Только и всего, Олексин, но первый выстрел — за мной. Надеюсь, вы не оспариваете моего права?

Олексин пожал плечами и молча пошел на свой номер, держа врученный ему револьвер в опущенной руке. «А ведь у него дрожал голос, — подумал он, заняв позицию и не поднимая револьвера. — Трусишь, Одоевский?..»

— Жорж, прикрой грудь! — крикнул кто-то из его секундантов.

— К черту! Командуйте, капитан!..

И не поднял револьвера, ожидая выстрела. Одоевский опустил револьвер, который держал у плеча, и начал медленно целиться. «Долго, дьявольски долго...» — успел подумать Георгий, когда наконец-таки сухо ударил выстрел. Пуля порвала погон на левом плече мундира, и секунданты шумно вздохнули.

— Выстрел за мной, Одоевский! — громко выкрикнул Георгий. — Живи и мучайся!..

Подошел к капитану, протянул револьвер.

— Bravo, Олексин, — с огромным облегчением сказал капитан. — Вы поступили в высшей степени благородно.

Хотя дуэль прошла без кровопролития, санкции последовали незамедлительно. Дуэлянты — каждый, естественно, в своем полку — были преданы судам офицерской чести и решением их уволены из армии. Однако рекомендации судов вступали в силу только после утверждения государем, дуэлянтам-офицерам полагалось

служить в прежних должностях до монаршего волеизъявления, но Одоевский сразу же подал рапорт об отставке. Этого ожидали, потому что на дуэли он выстрелил отнюдь не в воздух. А подпоручик Олексин от своего выстрела отказался, и его благородство покрывало Одоевского несмываемым позором.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли, но о ней узнало все московское светское общество. Подробности дуэли живо обсуждали в полках, клубах и салонах, неизменно восхищаясь мужеством и выдержкой подпоручика Олексина. Московский Дворянский клуб послал петицию государю с нижайшей просьбой не гневаться на подпоручика Олексина, поступившего столь благородно да при этом еще и выказавшего личную смелость и отменное хладнокровие. Аристократические старцы, хранители традиций офицерской чести, писали знакомым генералам и сановникам при дворе, заклиная изыскать все способы воздействия на решение государя, а Хомяков тут же отправил курьера в Петербург к генералу Федору Олексину с письмом, в котором подробно рассказал о дуэли, не касаясь, однако, ее основной причины, но требуя использовать все свое влияние ради спасения офицерской карьеры Георгия.

Впрочем, об этой основной причине не

упоминали даже записные кумушки из высшего московского света. Не только потому, что не знали, — даже Одоевский помалкивал, — а потому, что поступок Георгия затмил причины вообще. Уж слишком мелкими казались все возможные поводы ссоры двух офицеров: ну, приревновали друг друга, ну, не сошлись во мнениях, ну, карточные недоразумения, ну... Да какая разница, господа, разве дело в причине, когда следствие этих причин несоизмеримо благороднее всех их, вместе взятых?.. И двери самых заветных московских домов широко распахнулись перед никому доселе не известным армейским подпоручиком, хотя сам подпоручик Олексин не пересек порога ни одного из них.

Но решение государь принять был обязан, и оно воспоследовало. Всемиловитейшим распоряжением подпоручик Олексин переводился из Москвы в Ковно с повышением в чине, но запрещением служить в обеих столицах сроком на десять лет.

Хомяков устроил прощальный вечер лишь для своих. Надежда появилась, как только приехал Георгий. Печальная, виноватая, какая-то съезженная. Сказала тихо:

— Прости меня, брат. Бога ради.

— Да что ты, сестренка! — Георгий крепко обнял ее, прижал к груди. — Тебе же все

приснилось. Приснилось, понимаешь?.. Вот и улыбайся, как всегда.

А чуть запоздавший Николай — только что по совершенно уж необъяснимой причине пожалованный полным капитанским чином (а причина была проста: генерал Федор Олексин шепнул кому-то могущественному, что-де «родной брат того самого, который в воздух...») — первым делом бросился к подпоручику, облапил его, затормошил:

— Всем нам пример! Всем пример!.. Ура, господа, ура!..

— Почему бы тебе не раздеться? — с привычной строгостью поинтересовалась Варвара.

— Извини, но мне, к сожалению, пора бежать. С дежурства на полчаса улизнул. А бежать — добрых сорок минут.

— А как же... — начал было Георгий.

— Думай, герой, думай! — весело прокричал Николай и тут же умчался.

— Все Олексины малость с придурью, — добродушно проворчал Роман Трифионович. — Рвутся куда-то без расчета и логики.

Глава вторая

Надя и ее новая горничная Феничка не просто привыкли друг к другу, не только, как говорится, сошлись характерами, но и в определенной степени подружились, если в те времена можно было представить дружбу хозяйки и служанки. Отрыдавшись и отказавшись, Наденька растеряла прежний пыл, стала спокойнее и уравновешеннее. Однако Варваре это смирение показалось несколько подозрительным:

— В тихом омуте черти водятся.

— Стало быть, дружно молиться начнем, — буркнул Роман Трифонович.

Ему категорически не нравилась подозрительность супруги. Он верил своей любимице безоговорочно, зная основательность ее характера и его глубину. Происшедшее с нею он считал воплем угнетенной плоти, которой по всем возрастным меркам положено было познать свое естество. «В девках засиделась, только и всего, — как всегда грубовато думал он. — Стало быть, наша вина, а более всего — Варенькина. Она ей мать заменила, с нее и спрос». Из этого размышления само собой напрашивался вывод: пора знакомить Надежду с достойными женихами. Следовательно, пора устраивать балы, приемы, рауты, музыкальные вечера и тому подобное, поскольку выезжать в свет ему, одному из самых богатых людей Москвы, но

не дворянину, было как-то не с руки. И принять могли далеко не все, и сам он далеко не у всех желал показываться. В высшем свете должников хватало, и здесь следовало пять раз оглянуться, прежде чем шагнуть. Кроме того, старое московское дворянство, а в особенности дворянство титулованное, упорно видело в Олексиных губернских провинциалов, в лучшем случае относясь к ним с покровительственным снисхождением, что болезненно воспринималось Варварой. И это следовало учитывать с особым вниманием. Роман Трифионович знал не только свое место, но и свою цену, обладал собственным достоинством и не желал попадать в неуютные положения.

— Несколько преждевременно, — сказала Варвара, когда он изложил ей свою тщательно продуманную программу. — Ты совершенно прав, но Надя еще не успокоилась. Дадим ей время, дорогой.

— До конца года, что ли?

— Конец года — это прекрасная пора, Роман. Рождество, Святки — очень естественно для разного рода приглашений, и никто в этом ничего нарочитого не усмотрит.

— Пожалуй, ты права, Варенька, — согласился, основательно, правда, все взвесив, Хомяков. — Ничего нарочитого — это хорошо,

достойно.

А тем временем в комнатах Надежды — спальне, будуаре и личном кабинете — шли долгие девичьи разговоры. Они, как правило, не имели определенной темы, как и все девичьи беседы, и часто возникали вдруг, без видимого повода, но всегда — только по инициативе хозяйки, как и полагалось в те времена.

— Ты когда-нибудь влюблялась, что называется, очертя голову?

— Не знаю, барышня. Влюбляться — барское занятие, а жених у меня есть. Тимофеем звать. На «Гужоне» подмастерьем работает. Говорит, на каком-то стане, что ли. Огнедышащем, говорит. Уж и родителей мы познакомили, и сговор был.

— А чего же не обвенчаетесь?

— Семьи у нас небогатые, барышня. За мною ничего дать не могут, вот я сама себе на приданое и зарабатываю.

— Я тебе на приданое дам, но с условием, что ты меня никогда не бросишь.

— Нет, барышня, спасибо вам, конечно. Только семья — это муж да детишки, сколь Бог пошлет. А я детишек страсть как люблю!

— Часто с женихом видишься?

— Да ведь как... Прежняя хозяйка два раза в месяц на целый день отпускала.

— Скажи, когда надо, и ступай целоваться.

— Ой, барышня!.. — Феничка зарделась больше от радости, нежели от смущения. — Спаси вас Христос, барышня.

— А мне с тобой хорошо, Феничка, — улыбнулась Надя. — Друг друга мы понимаем.

— И мне с вами очень даже распрекрасно, барышня. Дом — чаша полная, а все — уважительные. Даже сам Роман Трифонович очень уважительный мужчина, а ведь при каком капитале-то огромном!

— Мне сейчас трудно, Феничка, — вдруг призналась Наденька. — Трудно и на душе смутно. Уехать бы нам из Москвы этой опостылевшей куда-нибудь в тишину, покой...

— Так куда пожелаете, туда вас и отправят. Хоть в заграничные страны.

— Бывала я за границей, — вздохнула Надя. — Суета там, чужая праздность и... и сытые все.

— Ну и слава Богу, — сказала Феничка, умело приступая к прическе своей хозяйки. — Нам, русским, до сытости далеко.

— Другая у них сытость, Феничка. Не тела, а духа. Выучили правила и не желают более ни о чем ни знать, ни думать. Скука невыносимая, порой выть хочется.

— У нас пол-России воет, а вы не слышите.

— Как ты сказала, Феничка?

— Пол-России, говорю, воеет, кто с обиды, кто с голоду. А господа и вполуха того воя не слышат.

— Как замечательно ты сказала, Феничка. Как просто и как замечательно!.. Заставить господ вой этот услышать — вот цель, достойная жизни. Если русская литература заставила понять, что есть холоп и есть барин, то русская журналистика обязана заставить господ народный вой услышать. Заставить, понимаешь?..

— Не-а, барышня, уж не обижайтесь. Неученая я.

— А ты подумай, подумай, Феничка. Ты отлично умеешь думать, когда хочешь.

— Ну, если желаете, то так сказать могу. Никогда вы господ не заставите беду народную прочувствовать. Кто же сам себя добровольно огорчать станет? Разве что дурачок какой юродивый... Нет, барышня, жизнь, она ведь колесом катится, чему быть, того не миновать.

— И это верное заключение, Феничка, — покровительственно улыбнулась Надя. — Только колесо-то ведь подпрыгивает иногда...

Разные у них случались беседы — с выводами и без, и не в них, в сущности, дело. Главное заключалось не в беседах, а в том, что под влиянием этих бесед душа Наденьки рубцевалась, а рубцы рассасывались.

Согрешить всегда легче, чем избавиться от

ощущения собственного греха. О своей обиде она сейчас уже и не думала, разобравшись наконец, что вся эта история с Одоевским случилась совсем не по любви, а только лишь из-за очередного приступа самоутверждения. Теперь ее мучило другое: понимание, что своим поступком она поставила родного брата на край гибели. Ведь Одоевский целился в сердце Георгия и лишь чудом, Божьим провидением промахнулся, прострелив погон на левом плече. Этот простреленный погон она вымолила у Георгия, когда он заехал попрощаться перед отъездом в Ковно. Вымолила, и подпоручик на следующее утро за час до отъезда принес его. И она при всех опустилась перед братом на колени, поцеловала этот продырявленный погон и спрятала на груди.

— Ну, что ты, что ты, Наденька! — Георгий поднял ее с пола, обнял. — Забудь об этом, забудь! Пустое это. Пустое.

А Наденька впервые разрыдалась облегчающими слезами, и все ее утешали и целовали.

Но это — при всех. А ужас, что брат чудом не погиб, продолжал жить в ее душе. Продолжал истязать ночами, не давая уснуть.

Распроставшись с сестрами и Хомяковым, Георгий направился не домой, как все полагали, а к Николаю. Он узнал, что капитан задерживается на службе, а поговорить на прощанье было необходимо. Кроме того, ему хотелось попрощаться и с Анной Михайловной, которую скорее жалел, чем любил.

Жалел не потому, что супруга брата выглядела белой вороной не только у Хомяковых, но и в московском офицерском обществе. Анна Михайловна частенько неприятно поражала и его присущей ей на удивление естественной бестактностью, но это подпоручик научился сразу же прощать после рождения крохотной хромоножки-Оленьки. Отчаяние матери оказалось столь безграничным, а убежденность, что в несчастье виновата только она, столь искренним, что он — тайком от Николая, разумеется, — бросился тогда к Варваре.

— Только не ставь Николая в щекотливое положение!

— Об этом ты мог бы меня и не предупреждать, Жорж.

Варя деликатно начала с того, что нанесла визит молодой чете. Вопреки ее опасениям, Анна Михайловна не раскудахталась по поводу неожиданно нагрянувших миллионщиков-родственников, а чисто по-женски

показала несчастного младенца и поведала о своих горестях с глаза на глаз.

— В покаяние она ударилась, — говорил тем временем Николай, угощая Романа Трифоновича чем Бог послал. — А это уж совсем ни к чему, мы второго ребенка ждем.

— Не убивайся преждевременно, Коля. Тут главное, что врачи скажут. Есть в Москве два больших знатока.

— Большие знатоки офицеру не по карману.

— Кабы такую глупость твоя супружница ляпнула, то и Бог с ней, — рассердился Хомяков. — Твоя дочка нам, между прочим, племянницей доводится, ты что, позабыл? Стыдно, Колька.

Вот это крестьянское «Колька» и умилило тогда Николая чуть не до слез. До поцелуев, правда, он не дошел, но от неожиданной просьбы не удержался:

— Если мальчик родится, будешь крестным?

— А если девочка? — улыбнулся Хомяков.

— Если опять девочка, Варю о том же попрошу.

— Столковались, Коля! — рассмеялся Роман Трифонович. — И чтоб все ладно было.

Но ладно не получилось. Самые известные в Москве (и самые, естественно, дорогие) детские хирурги в один голос заявили, что при подобных травмах медицина бессильна. Дали кучу

рекомендаций, как разрабатывать, массировать и нагружать больную ножку Оленьки, и Анна Михайловна вновь осталась наедине со своим покаянием.

Это-то и послужило основной причиной позднего визита Георгия. Супруги искренне ему обрадовались, Анна Михайловна показала спящую дочку, посидела немного с братьями и ушла к себе, сославшись на усталость.

Молодые офицеры обменялись полковыми новостями, Николай вспомнил о дуэли, тут же помянули портупей-юнкера Владимира и как-то само собой, незаметно перешли на воспоминания детства.

— Ты был, когда какая-то подчиненная Маше дама привезла в Высокое Леночку? Что-то, Коля, я тебя там не припоминаю.

— Я, младенец мой прекрасный, вступительные экзамены в гимназию сдавал.

— Да, да! — почему-то обрадовался Георгий. — И получил еле-еле тройку по арифметике. И Варя тебя пилила дня четыре.

— Неделю. Не бывать мне генералом, Жорж.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала. Кто в семье ожидал, что непутевый Федор, которого, как тебе известно, жандармы искали по всей России, в тридцать лет наденет эполеты?

— В тридцать лет у Федора орденов целая

грудь была. В том числе и солдатский Георгий, который на офицерском мундире светится совершенно особым светом.

— Его очень любил Михаил Дмитриевич Скобелев, — тихо сказал Георгий и вздохнул.

— Да! — коротко бросил Николай, решительно обрывая этот разговор.

Неожиданно всплывшая тема была весьма щекотливой и даже в известной мере опасной. Русский национальный герой, славы которого хватало на весь мир, внезапно скончался в Москве в возрасте тридцати девяти лет. По этому поводу бродило множество как слухов, так и домыслов, а поскольку Михаил Дмитриевич умер через два часа после доброй офицерской попойки, на которой присутствовал и Федор, то и слухи, и домыслы в определенной мере коснулись и семьи. Тем более что государь Александр Третий, сурово наказав многих соучастников дружеского ужина с обильными возлияниями в «Славянском базаре», полковника Федора Ивановича Олексина не только не тронул, но, наоборот, перевел из Москвы в Петербург и приблизил ко двору. Никто этого тогда объяснить не мог, в том числе и сам Федор, и все списали на свойственную императору непредсказуемость. Но всем Олексиным стало неприятно тогда. Было неприятно и сегодня. И молодые офицеры, задумчиво помолчав, просто

дружно выпили за одно и то же, ни словом при этом не обмолвившись.

— А генералом мне не бывать вовсе не из-за арифметики, — улыбнулся Николай. — В Академию Генерального штаба мне теперь дорога заказана. С чистыми капитанскими погонами туда не принимают, как тебе известно.

— Это я тебя подвел, Коля, — вздохнул Георгий.

— Тем, что я досрочно чином пожалован? — усмехнулся Николай. — Бог с тобой, брат, мне все офицеры в полку завидуют. Не успел приехать из глухого провинциального гарнизона и вдруг — здравствуйте, беззвездочные капитанские погоны.

— Думаешь, Федор расстарался?

— Не спрашивал, не спрашиваю и спрашивать не буду, — резче, чем хотелось, сказал Николай.

Помолчали.

— Ты прости, Жорж, за резкость, — неуверенно улыбнулся капитан. — Порою мне кажется, что мы несправедливы к Федору. Особенно почему-то Варя и Роман. Не находишь?

Георгий неопределенно пожал плечами:

— Может быть, Варвара считает его виноватым в том, что Хомяков потерял все свои капиталы в Болгарии?

— Не думаю. Варенька у нас мыслит логически. — Капитан помолчал. — Что-то тут

посерьезнее, Жорж. А серьезное, как говорится, штаб-офицерам не по погонам. Давай еще по рюмке.

— За службу, брат?

— Скучно сказал, — улыбнулся Николай. — А что же та девица, которой ты меня как-то представил? Грозит расставание навеки?

— Обещала ждать! — самодовольно улыбнулся подпоручик.

— Десять лет, что ли?

— Нет, собственного совершеннолетия.

— И велик ли срок?

— Через два года надеюсь встречать ее на вокзале в Ковно.

— Веришь в эту встречу?

— А я всегда верю, Коля. Я не умею не верить. Иначе жить скучно, понимаешь?

— Вот за это и выпьем. За веру во встречи через десять лет!

Братья улыбнулись друг другу и чокнулись полными рюмками.

3

Приближалось Рождество, а за ним и новый, тысяча восемьсот девяносто шестой год. Москва уже начала украшаться, на базарах появились первые елки. Год этот был совершенно особенным,

потому что в мае намечалась коронация государя императора Николая Второго и государыни императрицы Александры Федоровны. Этот торжественный акт всегда происходил в Успенском соборе Кремля, и москвичи ожидали Новый год с особым радостным нетерпением.

Однако Рождество Христово оставалось и при грядущих исторических событиях главным церковным праздником, и к нему, естественно, готовились заранее. Расписывали балы, рождественские благотворительные базары, маскарады, званые вечера, катание на тройках и санках с Воробьевых гор, а отцы города подумывали еще и о народных гуляньях. Москва полнилась слухами — что, когда, где и у кого именно, — и с этими пока еще черновыми списками слухов и намеков Варвара однажды пришла к Наденьке.

— Вот список. У кого бы ты хотела побывать?

— Ни у кого.

— Тогда давай решать, кого пригласим к себе.

Роман Трифионович закатит бал с ночным катанием на тройках...

— Извини, Варенька, я понимаю, вы хотите, как лучше. А я хочу тишины и покоя.

— Но это же невозможно, Наденька. Это могут неверно истолковать, а нам совсем ни к чему...

— Так отправьте меня из Москвы, и толковать будет не о чем.

— Куда? — строго спросила Варвара, уже начиная сердиться. — Куда ты хочешь убежать? От себя самой?

— Ох, если бы это было возможно...

— Пойми, тебе просто необходимо начать появляться в свете. А рождественские праздники — лучшее время для новых знакомств.

— Я поеду в Высокое, — неожиданно решила Надежда. — Да, да, к Ивану, в наше Высокое.

— Но там же... — растерялась Варвара. — Там же никого нет, кроме Ивана, который, ты это знаешь, вечно под шафе.

— Есть, Варенька, — грустно улыбнулась Надя. — Там два белых креста. Исповедуюсь маменьке, отрыдаюсь на ее могилке и вернусь другой. Верю в это!..

— Очередной каприз, Надежда?

— Скорее внеочередная необходимость.

— А ты знаешь, она права, — сказал Роман Трифонович, когда Варвара с возмущением поведала ему об «очередном капризе». — И это не каприз, это поиски спасения души.

— Но я не могу отправиться с нею в эти поиски, — резко возразила Варя. — У Николая днями ожидается прибавление семейства, он просил меня стать крестной матерью ребенка, и ты, кстати,

об этом давно знаешь.

— Может быть, это и к лучшему, что мы не можем поехать к Ивану, — поразмыслив, сказал Хомяков. — Надюша сейчас нуждается в одиночестве. Во всяком случае, на какое-то время мы с тобой ей, извини, не нужны. Но ты не тревожься, я все устрою.

Он все основательно продумал, поговорил с Надеждой и — отдельно — с ее горничной, а потом вызвал к себе верного и пунктуально исполнительного Евстафия Селиверстовича.

— Поедешь в Высокое, к Ивану. Передашь ему мое письмо и обеспечишь все, что потребуется для отдыха Надежде Ивановне. Хорошего повара, хорошую прислугу, тройку с умелым ямщиком на все время Надюшиного проживания, ну... Словом, не мне тебя учить, сам все знаешь и без моих советов.

И через неделю дворецкий, помощник и особо доверенное лицо Хомякова Евстафий Селиверстович Зализо выехал в Смоленск.

4

А за сутки до его выезда в Высоком ночью зло разбрехались собаки, и сторож Афанасий разбудил хозяина Ивана Ивановича.

— Гость к вам, барин.

— Проси.

Иван поспешно оделся, накинул теплый халат, спустился вниз. В прихожей стоял мужчина в далеко не модном, но явно заграничном костюме. Левый рукав старого, немецкого покроя сюртука был подшит по локоть, на что Иван сразу же обратил внимание.

— Аверьян Леонидович?

— Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что потревожил в столь неурочный час.

Иван молча, со странным щемящим чувством разглядывал мужа собственной давно погибшей сестры Маши Аверьяна Леонидовича Беневоленского. Правда, Аверьян Леонидович Беневоленский должен был отбывать бессрочную ссылку в Сибири за противоправительственную пропаганду, но сейчас почему-то стоял в прихожей. Со сна, отягощенного похмельем, голова была пустой, и Иван соображал туго.

— А как вы добрались?

— Пешком. Устал, замерз, два дня не ел. Проводите в столовую да велите подать водки да закуски поплотнее. Или пост соблюдать начали, Олексин? Тогда прошу прощения.

— Пешком из Сибири? — тупо спросил Иван.

— Из Ельни! — сердито ответил Беневоленский. — Я вас из дамской постели выдернул? Виноват, простите великодушно.

Обогреюсь, перекушу и уйду.

Иван крепко обнял Аверьяна Леонидовича.

— Это вы извините меня, дорогой мой, выпил вчера лишнего. Как всегда, впрочем. Рад, всем сердцем рад. И встрече рад, и что живой вы и... Признаться, спиваюсь помаленьку от одиночества.

— А где же Леночка? Девочка-гречанка, которую спасли вы с Машей?

— Лена вышла замуж, — помолчав, глухо сказал Иван. — Живет с мужем где-то... В Харькове, что ли.

— Извините, не знал.

— Никого в доме, кроме прислуги за все. Фекла!.. Фекла, спишь, что ли? Гостя встречай!..

Появилась немолодая заспанная служанка, накрыла на стол, раздула самовар, недовольно ворча:

— Сало жрут в Филиппов пост, безбожники...

На сало и ветчину налегал Аверьян Леонидович. Изголодался, промерз, устал до изнеможения. Ивану кусок не лез в горло, и закусывал он кислой капусткой. После того как опрокинули по второй, не выдержал молчания:

— Как же вы здесь-то оказались, Беневоленский? Неужели помиловали?

— Черта с два они помилуют кого.

— В отпуске, что ли? — похлопал глазами ничего пока не соображающий Иван.

— Бежал.

— Из Сибири?

— Из Сибири. Точнее — из Якутии.

Обождите, наемся — сам расскажу.

— Это ж через всю Россию?..

— Кругом. Да дайте же мне поесть, наконец!

Выпив еще две рюмки и основательно закусив, Аверьян Леонидович вздохнул с великим облегчением. Закурил, откинулся на спинку стула. Пускал кольцами дым, о чем-то размышляя. Фекла притащила самовар, накрывала к чаю, несогласно гремя посудой.

— Коли расположены слушать, Олексин, готов объяснить свое появление середь ночи и зимы.

— Может, поспите сперва? — с жалостью поглядев на него, вздохнул Иван. — На вас лица нет — одна борода.

— Не усну, пока все не расскажу. Вы знать должны, Олексин, чтобы решить, как вам поступать в отношении беглого ссыльного.

— Ну, это уж извините...

— Извиняться будете, когда выслушаете и, возможно, укажете мне на дверь. Я — бессрочный ссыльнопоселенец, как вам, должно быть, известно. Определен был на жительство в якутский поселок, место жительства менять, естественно, права не имел, а раз в десять дней туда наезжал урядник для

контроля за ссыльными. Вот так все и шло из года в год лет восемь, что ли, как вдруг — вспышка дифтерии. Да в самой глухомани, почти на границе с Чукоткой. Врачей нет, и меня как медика мобилизуют для борьбы с эпидемией среди местного населения. Лекарств, сами догадываетесь, никаких, лечи, как сам разумеешь. А тут у шамана — якуты хоть и православные, а в глубинке шаман по-прежнему большая сила — внуки заболели, и шаманский сын сам за мной приехал: «Спаси, мол, детей, ничего не пожалею!» — «Коли, говорю, уладишь с урядником, то поеду с тобой». Уладил: в той глухомани уряднику ссориться с шаманом совсем не с руки, да и куда я зимой денусь? Расстояния — тысячи верст в любую сторону. Поехал, жил с ними в яранге, от заразы спиртом да квашеной черемшой спасался. Больных четверо: два мальчика и две девочки. Одну девочку спасти не удалось... — Аверьян Леонидович вздохнул, покачал головой. — Тяжелая форма, не смог. А остальных вылечил.

— Без лекарств?

— Пленки отсасывал, чудом не заболел. Шаман, дед их, на седьмом небе от счастья. «Вот, говорит, тебе за спасение». И три золотых самородка мне протягивает. «Бери, говорит, для нашего народа это — страшное зло, а для вашего — богатство». Я ему: «Ты лучше бежать мне помоги.»

— «Ладно, говорит, к морю наши люди тебя выведут, а там — сам выходить должен. А золото возьми, в дороге пригодится». Взял я самородки, поскольку нищ был как церковная крыса. Якуты меня в свою одежду обрядили, перебросили своими тропами на берег Охотского моря и уехали. А уж весна была. Побродил я с опаской вокруг да около, пока на японских рыбаков не наткнулся. И за один самородок столкнулся, что они меня в Японию отвезут.

— А ведь могли и все отобрать да и в море выбросить, — сокрушенно вздохнул Иван.

— Могли, конечно, но... до Японии довели. Там я на голландский корабль пересел, который и доставил меня в Амстердам за два последних самородка. Ну а дальше — пешком через всю Европу.

— Без гроша?

— Подрабатывал, где мог и как мог. Я ведь немецким и французским владею, так что не очень это было сложно. На родине куда сложнее: документов-то у меня никаких. Крался как тать в нощи, но до родимых мест дополз. В родном сельце, правда, показаться не решился, а в Высоком — рискнул.

— Одиссея...

— Сразу скажу, что мне нужно, а вы уж решайте. Мне нужно отдохнуть и в себя прийти.

Полагаю, это несложно, поскольку вы тут в тягостном одиночестве пребываете, и я вас не стесню. Второе посложнее, Олексин. Мне паспорт нужен. Позарез, что называется, или опять — в Сибирь по этапу. Поможете?

— Все, что в моих силах, друг мой. Все, что в моих силах.

— Тогда еще по рюмке да и спать. Как, Иван Иванович? Продрог я до костей на теплой чужбине...

— Давай Машу помянем, Аверьян? — вдруг тихо сказал Иван, перейдя на «ты» неожиданно для самого себя. — Царствие ей небесное, Машеньке нашей...

— Светлая ей память, Иван, — дрогнувшим голосом сказал Беневоленский.

И оба встали, со строгой торжественностью поднимая рюмки.

Через несколько дней из Смоленска на тройке, за которой следовал небольшой обоз, приехал Евстафий Селиверстович. Прибыл он весьма скромно — на тройке был подвязан колокольчик, а бубенцы вообще сняты — гонца вперед не посылал, держался с подчеркнутой почтительностью, полагая господами Ивана и Беневоленского, а себя — лишь представителем Хомякова, но привез с собою дыхание живой жизни, от которой в Высоком почти отвыкли. Сообщил, что на Рождество приедет

Надежда Ивановна со своей горничной, и передал Ивану письмо от Романа Трифоновича.

В коротком, по-хомяковски деловом письме, в сущности, содержалась лишь просьба хотя бы немного поосторожничать с питьем, учитывая прибытие гостей и плохое здоровье Надежды. Никаких причин ухудшения этого здоровья Роман Трифонович не сообщал, но рекомендовал во всем положиться на своего управляющего господина Зализу, а самому весело и беззаботно встречать Рождество и Новый год вместе с младшей сестрой. И письмо Ивана очень обрадовало, потому что он глубоко и искренне — впрочем, он все делал на редкость искренне, даже спивался, — любил Наденьку.

— Надя на Рождество приезжает, — немедленно сообщил он Беневоленскому.

— Надя? — озадаченно переспросил Аверьян Леонидович. — Это кроха такая, что за коленки меня теребила?

— Наша кроха уж курсы кончила и, что главнее, писательницей стала. У меня рассказ ее имеется. «На пари» называется. Хочешь, дам почитать?

— Непременно. А что это за господин, который стал всем распоряжаться?

— Управляющий Хомякова, мужа Варвары. Между прочим, миллионщика... — Иван вдруг

примолк, а потом, понизив голос, добавил: — Вот кто тебе, Аверьян, паспорт сделает. Фамилия у него такая, что в любую щель пролезет. Зализо его фамилия.

— А он не?..

— Не, — сказал Иван. — За ним — сам Хомяков, который эту власть больше тебя ненавидит. Вот и выход. Выход, Аверьян! Пойдем по этому поводу...

Тут Иван замолчал, глубоко и не без сожаления вздохнул и сказал:

— Ферботен². Только за столом, только вино, и только два... нет, три бокала. Этот Зализо воз шампанского привез. Да не нашего, российского, а настоящего.

— Кому с ним лучше поговорить? Тебе или мне? — спросил Беневоленский, которого мало интересовало шампанское, а новый паспорт — весьма и весьма.

— Сам поговорю. Вот пригляжусь два денька...

Евстафий Селиверстович, испросив разрешения у Ивана, развил бурную деятельность. Приказал выскрести весь дом от чердака до подвалов, предупредив, что сам будет проверять

² Запрещено (нем.).

чистоту. Велел разместить дорожки в саду, установить в зале елку и украсить ее игрушками и мишурой, которые привез из Смоленска. Распорядился вырубить пушистую ель, вкопать ее в центре села Высокого и увешать игрушками и свечами. Указал, какие именно дороги расчистить для безопасного катания на тройке, и велел привести в порядок могилы под двумя мраморными крестами и дорожки к ним. И все проверял лично. Однако Иван на третий день сумел вытащить его из вороха дел.

— Серьезная просьба, Евстафий Селиверстович. Очень и очень. Наш родственник господин Беневоленский, которого хорошо знает Роман Трифонович, прибыл из-за границы... мм... Не совсем легально, а посему необходим паспорт.

— Сделайте милость указать, на какое имя.

— Он... — Иван растерялся от такого простого решения вопроса, казавшегося неразрешимым. — Он сам скажет.

— Завтра же выеду в Смоленск, чтобы успеть до Рождества, потому как далее воспоследствуют каникулярные дни.

— Благодарю...

— Польщен доверием вашим, Иван Иванович. Весьма польщен. Не откажите в любезности попросить господина Беневоленского передать мне все необходимые данные непременноим образом

сегодня же. Если не затруднит вас просьба сия.

Все было сделано буквально в один день, и господин Аверьян Леонидович Беневоленский, бывший смутьян и вечный ссыльнопоселенец, стал мещанином Прохоровым Аркадием Петровичем. Зализо знал, как разговаривать с чиновниками, а хомяковские миллионы творили чудеса и почудеснее паспортных.

Заодно Евстафий Селиверстович привез фракную пару, три приличных костюма для внезапного гостя и телеграмму от Варвары:

«НАДЕЖДА ВЫЕЗЖАЕТ 22 ВСТРЕЧАЙТЕ НЕПРЕМЕННО ВАРЯ».

5

Встречать любимую сестру Иван выехал вместе с неутомимым господином Зализо в закрытой карете, учитывая рождественские морозы. Поезд пришел вовремя, Надя степенно вышла из вагона первого класса, но, увидев Ивана, совсем по-девичьи повисла у него на шее.

— Ваничка, дорогой! Я так рада... Это ведь я к тебе на Рождество напросилась, не сердись?.. А это — Феничка.

Феничка церемонно присела, а Иван, зайдясь от счастья, чуть было не обнял и ее, но — опомнился и почему-то погладил по голове.

Евстафий Селиверстович почтительно поклонился, приказал кучеру взять вещи и повел всех к карете.

— Ты, Наденька, знаешь этого господина, — сказал Иван, представляя Беневоленского. — Это Аверьян Леонидович, муж нашей покойной Маши.

Потом был обед по случаю приезда — в доме не придерживались строгого поста, как и в большинстве дворянских домов того времени, но рыбные блюда и деликатесы, естественно, преобладали, а привезенный Евстафием Селиверстовичем повар в грязь лицом не ударил. Расспрашивали Наденьку, шутили, пили легкое мозельское вино, однако даже его Иван позволил себе ровно два бокала.

— У вас, Надя, бесспорное литературное дарование, — говорил Беневоленский. — Я читал ваш рассказ «На пари», и мне он понравился, несмотря на кричащую сентиментальность. Он остро социален, что делает его не только граждански значительным, но и современным в лучшем смысле. Каковы ваши планы на будущее?

— Я... Я скверно себя чувствовала, но очень надеюсь окончательно выздороветь здесь, где прошло детство. А что касается планов на будущее... Мечтаю заняться журналистикой.

— Прекрасная мечта. Россия вступает в новое столетие, которое обещает резкое обострение классовой борьбы, и роль журналистики трудно

переоценить.

— Смена веков есть смена знамен, — Иван печально улыбнулся. — Так любил говорить наш отец. Поклонимся ему и маменьке на второй день Рождества Христова, Наденька.

— Я... Да, конечно, Ваня.

Вечером Надя притащила из кладовой множество елочных игрушек и украшений, которые скопились за добрых двадцать лет. Затем Феничка с помощью Аверьяна Леонидовича и Ивана заново перевешивали игрушки и украшения, а Наденька вслух читала им любопытные известия столичных газет и журналов, которые привезла с собой.

— «Во Франции вошла в большую моду забава, известная под именем *bataille de confetti*. Публика забавляется, забрасывая друг друга разноцветными фигурками из бумаги и лентами».

— Хорошо французам, — проворчал Беневоленский. — У них даже Сибирь — в тропиках.

— «В распоряжение московского Комитета грамотности поступило крупное пожертвование от лица, пожелавшего остаться неизвестным, — продолжала Наденька. — Согласно воле жертвователя вся сумма в сто тысяч рублей должна быть употреблена на покупку библиотек для воскресных школ...»

— Интересно было бы узнать имя щедрого

жертвователя, — улыбнулся Иван.

— А будто вы не знаете? — живо откликнулась Феничка. — Так то ж Роман Трифонович, не сойти мне с этого места!

Все рассмеялись, и Надя начала читать дальше:

— «В Москве открыты две столовые, в которых будут бесплатно обедать пятьсот малоимущих студентов».

— Вот это славно, — сказал Аверьян Леонидович. — Ты много по урокам бегал, Иван?

— Достаточно. Хотя официально и не считался малоимущим. Как-то и времени вроде хватало, и сил.

И вздохнул вдруг, нахмурившись. Беневоленский посмотрел на Надю, и она тотчас же продолжила:

— «Весь мир облетело известие из Иркутска о том, что знаменитый норвежский исследователь Фритъоф Нансен, отправившийся три года назад на север на корабле «Фрам», достиг Северного полюса, где и открыл новую землю».

— Вот куда в двадцатом столетии Россия своих каторжан ссылать будет, — сказал Иван. — Оттуда уж не убежишь. Ни при какой дифтерии с эпидемией.

— Невыгодно, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Проще всю Сибирь заборами

огородить.

Так они шутили и смеялись допоздна, а на следующий день рано утром, еще до завтрака, Надя исчезла. Феничка тут же призналась, что знает, куда подевалась ее барышня, и для тревог решительно нет никаких оснований. Но все дружно решили погодить с завтраком, пока Наденька не вернется.

А Наденька рыдала на могилах под двумя белыми мраморными крестами.

— Маменька, батюшка, простите меня, простите... Ради Бога, простите меня...

Ей необходимо было покаяние, но не пред иконным ликом, а над прахом родителей своих, вспомнить которых живыми она так и не смогла. Но это, как выяснилось, было не столь уж важным. Важным оказалось откровение и искренние слезы.

Вечером в канун Рождества Надя и Феничка принесли из дома все оставшиеся игрушки и вместе с крестьянскими ребятишками по-своему перевесили украшения, цепи и мишуру на высокой елке, вкопанной в центре села Высокое. А потом все — и Беневоленский с Иваном в том числе — пошли по традиции в церковь. Вечером того же дня к детям в Высокое приехал на санях Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Правда, Дед Мороз оказался без левой руки, но зато у Снегурочки была самая настоящая коса пшеничного цвета...

И начались Святки. До четвертого января —

естественно, отметив дома Новый год с шампанским — катались на тройке и на санках, по просьбе Наденьки расчистили снег на ближнем пруду, где и чертили лед коньками. И все это вместе с молодежью и детворой, с шутками, снежками, смехом и весельем.

В канун Крещенья Наденьке вздумалось погадать. Руководством к гаданию она избрала балладу Жуковского «Светлана» и велела Феничке раздобыть все, что упоминалось в ней в качестве подспорья для девичьего крещенского обряда. Башмачок, воск, зерно и курицу: драгоценности она решила попросить у Ивана.

— Вот уж не думал, что вас, образованного человека да еще и писательницу, могут увлечь девичьи гаданья, — Беневоленский явно разыгрывал удивление: просто хотелось поговорить.

— Я такая же девица, как и те, кто сотнями лет гадал в этот вечер, — улыбнулась Надежда.

— И вы верите столь же искренне, сколь верили ваши прапрабабки?

— Мне тоже интересно знать, что меня ожидает в девяносто шестом году. Разница лишь в том, что мои прапрабабки боялись играть с судьбой в открытую, а я не боюсь.

— Не бойтесь потому, что знаете беспредельную ничтожность совпадений, или в

силу собственного характера?

— Точнее, просто из любопытства. —
Наденька помолчала и спросила вдруг: — Я похожа на Машу?

— Скорее нет, чем да. Вас это огорчило?

— Если разъясните, не огорчит.

Беневоленский грустно улыбнулся. Вздыхнул, взгляд стал печальным и — строгим.

— Маша погибла в вашем возрасте, Наденька. Вы позволите называть вас просто по имени?

— Безусловно, Аверьян Леонидович. Мне это приятно.

— Обаяния в вас, пожалуй, столько же, но у вас оно — озорное, а у Машеньки — скромное. Я вас не обидел?

— Отнюдь.

— Обидел, конечно, обидел, — расстроился Аверьян Леонидович. — Но вы спросили прямо, и ответ должен быть прямым. Условились?

— Условились.

— Маша рано осознала свой долг и исполнила его до конца. Броситься на бомбу во имя спасения детей... Не каждый мужчина решится на такое, далеко не каждый.

— Мы преклоняемся перед ее мужеством, но...

— Преклонение через «но»?

— Бомба остается бомбой.

— Судите по нравственности того времени.

— Всегда и всё?

— Всегда и всё. И никогда — по нравственности сегодняшнего дня. Тогда это считалось героизмом, теперь — терроризмом, но людям не дано жить чувствами будущих поколений.

— А вы способны сегодня бросить бомбу?

— Я и тогда понимал бессмысленность подобных актов, почему и порвал с народовольцами. И... и с Машенькой, если быть до конца откровенным.

— Порвали с Машей? — тихо спросила Наденька.

— Точнее, мы разошлись по идейным соображениям. Я очень любил ее. Очень. И все время надеялся, что она поймет меня и вернется. — Беневоленский тяжело вздохнул. — А потом узнал, что она не вернется уже никогда...

— А у вас не возникало ощущения, что вы предали ее?

— Вот сейчас в вас заговорила Маша, — невесело усмехнулся Аверьян Леонидович. — Бескомпромиссная Маша...

— Вы не ответили на вопрос.

— Видите ли, Надин, мы с Машенькой занимались революционной деятельностью, но пошли разными дорогами не из-за семейной ссоры,

моды или каприза, а следуя только собственным убеждениям. Если предательством вы называете то, что я не смог ее переубедить, то по женской логике вы абсолютно правы. Муж обязан удерживать жену от опрометчивых, а тем паче от роковых шагов. Но революционная борьба не имеет права ориентироваться на семейные отношения. Когда речь идет о судьбе народа...

— Господи, да при чем тут народ? — как-то очень по-взрослому вздохнула Надя. — При чем народ и вся ваша революционная деятельность, когда погибла моя сестра?.. Извините, Аверьян Леонидович, у меня... Меня ждет *моя деятельность*.

И вышла. А Беневоленский, сломав голландскую сигару, запас которых доставил в Высокое заботливый Евстафий Селиверстович, прошел в буфетную, налил большую рюмку водки и выпил ее одним глотком на глазах изумленной прислуги.

6

За ужином оживленным казался только Иван, даже как-то излишне оживленным. Надя и Беневоленский отвечали односложно, разговоров не поддерживали и улыбались несколько напряженно. «Что это с ними стряслось? — тревожно думал

Иван, упорно пытаюсь шутить. — Надутые и какие-то очень уж серьезные...»

— Петр Первый заменил славянский дуб колючей германской елью под новый, тысяча семисотый год. Может быть, он имел в виду, что нашего брата-русака следует гладить только по шерстке?

— Ваня, среди бабушкиных драгоценностей найдется перстень и изумрудные серьги? — неожиданно спросила Надежда, никак не отреагировав на довольно неуклюжую шутку.

— Бабушкиных драгоценностей вообще нет. Варвара продала их с нашего общего согласия, чтобы помочь Роману стать на ноги.

— И не выкупила? — ахнула Наденька.

— Так они же проданы, а не заложены, Наденька. Где их теперь искать?

— Какая жалость...

— «В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны...» — вдруг процитировал Аверьян Леонидович. — А обручальное кольцо, Надин, вас не устроит? Когда-то Машенька надела его мне на палец, и с той поры я его не снимал. — Он протянул через стол руку. — Тяните, Наденька, тяните изо всех сил, оно срослось со мной.

Надя посмотрела ему в глаза, улыбнулась:

— А вы извините меня за резкость?

— Не было никакой резкости. Забудьте и тащите кольцо.

— Надо палец намылить! Палец!

Обрадованный явным улучшением погоды за столом, Иван сам принес мыло, намылил кожу вокруг кольца и, наконец, с большим трудом стянул его.

— Не больно, Аверьян?

— Терпимо.

— Благодарю, Аверьян Леонидович, — сказала Надя. — Утром верну в целости и сохранности. А сейчас сыграю для вас, пока вы будете курить свои противные сигары.

Они перешли в гостиную. Мужчины неспешно, со вкусом курили, а Надя села к роялю и по памяти, без нот играла им, пока в дверь осторожно не заглянула Феничка:

— Пора, барышня!.. — загробным шепотом возвестила она.

— Пора девичьих забав, — пояснила Наденька. — Извините нас, господа.

Девушки поднялись в спальню Нади, зажгли свечи, потушили яркую керосиновую лампу. Сразу почему-то стало тревожно, и Надя сказала приглушенно:

— Зеркала надо завесить.

— Как при покойнике, что ли?

— Не знаю, но так полагается.

— Ой, не нравится мне все это, — вздохнула Феничка, занавешивая оба зеркала. — Ну, а теперь что?

— Ждать, когда полночь пробьет.

— Страсть-то какая...

Девушки уселись рядом и примолкли. Чуть потрескивая, горели свечи, тени дрожали на стенах. Было жутковато, и Феничка вцепилась в руку своей хозяйки. Наконец снизу, из гостиной, донеслись гулкие удары напольных часов.

— Нечистой силы время пробило, — прошептала Феничка. — А теперь что?

— Теперь?.. За ворота — башмачок. Ты принесла башмачок?

— Принесла. Во двор, что ли, с ним выходить? Обсмеют.

— Давай в окно выкинем.

— Так окна на зиму заклеены.

— Тогда... — Наденька задумалась. — В форточку бросай.

— Я?

— Ну, у нас же один башмак.

Феничка покорно влезла на подоконник, открыла форточку. Надя подала старый башмак, и горничная тут же вышвырнула его.

— За ворота бросила?

— В сад. Окна-то ваши в сад выходят, а двор звона с другой стороны совсем.

— Ну, ладно, — согласилась Наденька и забормотала: — «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали...» Тут у нас не совсем так, как у Жуковского. Дальше — «снег пололи». Ты умеешь снег полоть?

— А зачем его полоть? — удивилась Феничка и наставительно пояснила: — Полют грядки, барышня.

— Что-то пока у нас плохо получается, — вздохнула Надя. — После этого... После этого нам придется все равно выходить во двор.

— Зачем?

— Под окнами слушать.

— А, это интересно! — оживилась Феничка.

Девушки быстро оделись и через черный ход осторожно, боясь скрипнуть ступенькой, спустились во двор.

— Слушай очень внимательно, это важно, — прошептала Надя. — За мной к первому окну, где виден свет.

Они прокрались к освещенному окошку и замерли, наострив уши.

— Молчат там...

— Тихо!.. — зашипела Наденька.

— На круг — две тысячи, — вдруг еле слышно донесся мужской голос. — Не мало, не мало...

— Это Евстафий Селиверстович, — почти

беззвучно пояснила Надя. — Отчет пишет...

— Чего пишет?

— Тише!..

— Конечно, ради праздника ничего не жаль, однако... — бормотал тем временем Зализо.

Наденька оттащила Феничку от окна:

— Отчет — это неинтересно. Пойдем к следующему окну.

В следующем окне была открыта форточка и распахнуты шторы. Девушки подкрались, осторожно заглянули.

Это была гостиная. В креслах уютно покуривали Беневоленский и Иван.

— При семидневной обороне Шипки я окончательно понял, сколь опасна революция для России. Представь себе обезумевшую толпу под зеленым знаменем Пророка и столь же обезумевшую — под русским знаменем. Я все время видел перед глазами эти толпы вооруженных людей, когда залечивал отпиленную по локоть руку.

— Ты не прав, Аверьян. То была война за свободу.

— Я не говорю об оценках, поскольку то, что одна сторона считает плюсом, противоположная считает минусом, и наоборот. Я говорю об ожесточении людей. Безумном, неуправляемом ожесточении... Великая Французская революция

тоже была борьбой за свободу, но сколь же кровава и жестока она была. А революция в России обречена на еще большую кровь.

— Мы, по-твоему, более жестоки?

— Три четверти нашего народа обижали, угнетали и держали в нищете добрые полтысячи лет. Такое не забывается, Иван, вспомни разинщину и пугачевщину.

— Когда это было...

— Вчера, — строго сказал Беневоленский. — Народ не знает истории, для него существует только вчера и сегодня. И — завтра, если в этом «завтра» ему пообещают молочные реки и кисельные берега.

Феничка разочарованно вздохнула:

— Скушно, барышня...

— Подожди, — строго шепнула Надя.

— ...В городах станут вешать генералов и сановников, в деревнях — помещиков, в российской глухомани — офицеров и чиновников. Россия не просто огромна и космата, как мамонт, — Россия раздроблена. Две столицы и сотни губернских городов, губернские города и уезды, уезды и миллионы деревень, хуторов, аулов, кишлаков. И в каждом — свой уклад, свои отношения, свои начальники, чиновники, богачи и бедняки. И везде, везде решительно господство произвола, а не закона. Произвола, Иван, а

произвол порождает обиженных. И толпы этих обиженных ринутся давить обидчиков, как только почувствуют безнаказанность. Поэтому бороться за свободу у нас можно только постепенно, только парламентским путем...

— При отсутствии парламента? — усмехнулся Иван.

— Вот! — громко сказал Аверьян Леонидович. — Ты сам обозначил первый пункт программы: борьба за конституционную монархию как первую ступень буржуазной демократической революции. А далее — только через Государственную думу, или как там еще будет называться этот выборный орган. Иначе — неминуемый бунт. Бессмысленный и беспощадный, как бессмысленна и беспощадна сама толпа...

Устраиваясь поудобнее, — ноги затекли — Наденька не устояла и съехала вниз. Беневоленский замолчал, встал с кресла.

— Под окном кто-то...

— Бежим!.. — еле слышно скомандовала Надя и первой бросилась бежать.

Девушки влетели в дом, по черной лестнице через две ступеньки помчались наверх и перевели дух только в комнате, где горели свечи.

— Хватит с нас, — задыхаясь, сказала Наденька.

— А как же курица? — спросила Феничка. —

Я черную принесла, у меня в корзинке сидит.

— Мы узнали то, что нас ожидает, — строго пояснила Надя. — Осталось разгадать. Ступай к себе и разгадывай. Только сначала зажги лампу и погаси свечки.

— Покойной ночи, барышня, — радостно сказала горничная, видевшая в гадании очередную барскую причуду.

— Спокойной ночи.

Наденька разделась, накинула ночную рубашку, забралась под одеяло и начала размышлять над услышанным. Но мысли разбегались и путались, и через несколько минут она уже сладко спала.

Утром она спустилась в столовую несколько настороженной, но никто о гадании и не вспомнил. Даже Аверьян Леонидович, когда Надя надела ему на палец обручальное кольцо. Может быть, ждали, что она сама расскажет, но тут бесшумно вошел Евстафий Селиверстович, смешав все ожидания.

— Доброго утречка и приятного аппетита. Иван Иванович, вас староста из Высокого спрашивает. Говорит, мол, на минуточку, так что извините великодушно.

Иван тотчас же вышел, отсутствовал недолго, а вернулся явно огорченным.

— Что-то случилось? — спросил Беневоленский.

— Да так, ерунда, — Иван невесело усмехнулся. — С елки в селе ночью кто-то все украшения снял. Частью побил, частью унес. Мелочь, конечно, а неприятно.

— Какая гадость! — громко сказала Надежда.

— Раньше этого не водилось.

— Там же — мамины подарки. Ты помнишь мамины подарки? Она же сама, собственными руками делала их, мне Варя рассказывала!.. Мы им праздник устроили, а они...

— Смена веков есть смена знамен, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Так, кажется, говаривал ваш батюшка?

— Прости, Ваня, но я уеду. — Надежда бросила вилку. — Вот они, счета. Две тысячи... Две тысячи воров и хамов, видеть их не могу!

И быстро вышла из комнаты, почувствовав, что слезы вот-вот потекут по щекам.

Мужчины продолжали завтрак в молчании. Потом Иван вдруг встал, вышел в буфетную и принес графинчик с двумя рюмками. Молча налил.

— Водка? — насторожился Беневоленский.

— Ты прав, Аверьян. И отец прав. Смена знамен!

И залпом выпил рюмку.

Через сутки они тихо и грустно провожали Наденьку. Феничка уже прошла в вагон, распаковывалась в купе, а Надя смотрела на Ивана

в упор, уже не скрывая слез.

— Береги себя, Ваничка. Умоляю тебя.

— Я проживу здесь немного, Наденька, — со значением сказал Беневоленский.

— Приезжайте к нам, Аверьян Леонидович. Мы будем очень рады вас видеть. И Варя, и дядя Роман, и я. Вы же — Машина любовь, это больше, чем просто родственник.

— Непременно приеду, Наденька. Только, если позволите, после коронации. Когда в Москве потише станет. Мой поклон всем Олексиным и Хомяковым.

Девушки приехали в Москву на следующий день. В первый же вечер, за ужином, Надю подробно расспрашивали о житье в Высоком. Но отвечала она скованно и неохотно, а о разоренной елке вообще умолчала. Но после ужина уединилась с Варварой.

— Я покаюсь на маминой могиле. Теперь хочу покаяться перед тобой.

— Стоит ли ворошить старое?

— Стоит. Я вас всех обманула. Обманула, понимаешь? Не знаю, почему и зачем. Ради самоутверждения, что ли.

— Что значит, обманула? Поясни.

— А то значит, что подпоручик Одоевский просидел до четырех утра в моем будуаре в присутствии Грапы, которой я запретила говорить

правду.

Варвара молча смотрела на сестру потемневшими от гнева глазами.

— Что ты сказала?

— Твоя сестра — сама невинность, Варвара, маменькой клянусь, — неуверенно улыбнулась Наденька.

— Ты... Ты — сквернавка! Насквозь испорченная сквернавка! Ты же поставила под пулю Георгия!..

— Мама простила меня, — тихо сказала Надежда. — И велела сказать тебе всю правду. Я слышала ее голос, Варенька, слышала...

И, покачнувшись, стала медленно оседать на пол. Варя подхватила ее, закричала:

— Врача! Врача, Роман, немедленно врача!..

Глава третья

1

В конце января в Москву прибыл министр императорского двора граф Воронцов-Дашков. Двадцать седьмого он посетил Ходынское поле, где осмотрел работы по возведению Царского павильона в русском стиле, и в тот же день уехал в Петербург, оставив своим представителем генерала

Федора Ивановича Олексина.

— В Рескрипте государя генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу указано оказывать полное содействие нам, то есть Министерству двора, в коронационных приготовлениях, — с удовольствием рассказывал Федор, сразу же по отбытию непосредственного начальства навестивший родственников. — Чтобы ты, Роман Трифонович, имел представление об их размахе, скажу, что, например, колокольню Ивана Великого и кремлевские башни осветят четырнадцать тысяч лампочек. Четырнадцать тысяч!.. Во всех башенных пролетах зажгут разноцветные бенгальские огни, а стены Кремля унижут лампами со стеариновыми свечами. И все не на глазок, не на русский авось, а по рисункам Каразина, Прокофьева и Бенуа.

Надя слушала с интересом, Варвара вежливо удивлялась, а Роман Трифонович невозмутимо посасывал незажженную сигару.

— Идут немислимые расходы, немислимые! Граф приказал мне проверить кое-какие счета, и я выяснил, что, например, кумачу уже закупили свыше миллиона аршин по цене семьдесят пять копеек за аршин, тогда как нормальная цена — двадцать копеек!

— Двадцать две, — уточнил Хомяков.

— Это ж сколько денег застрянет у

откупщиков в карманах!

— Я обошелся без откупщиков.

— Ты?..

— Ну, а чего ж мелочиться-то? — усмехнулся в аккуратную надушенную бороду Роман Трифионович. — Казна платит напрямую, Федор Иванович, грех такой случай упускать.

— Но как тебе удалось?

— Еще до твоего приезда меня вызвал великий князь и укорил, что купцы мало жертвуют. Я говорю: «Совсем не жертвуют, Ваше высочество, потому как не ведают, достигнет ли их жертва намеченной цели. А люди они — практические». — «Но это же непатриотично!» — возмутился Сергей Александрович. «А откупщиков меж нами и вами ставить патриотично, Ваше высочество? — спрашиваю я тогда. — Коли сойдемся на прямых поставках, так, глядишь, и жертвовать начнем».

— И он?.. — с замиранием сердца спросил Федор Иванович.

— Сошлись, генерал, сошлись. И не только на кумаче.

— Это же миллионы...

— Если позволишь, Варенька, мы бы прошли в курительную. Вели туда десерт подать. Благодарю, дорогие мои, обед был чудным. Идем, генерал.

В уютной, обтянутой тисненой кожей

курительной они уселись в большие кожаные кресла и молча курили, пока накрывали на стол. Два лакея в расшитой галунами униформе принесли фрукты, сыр, французский коньяк, ирландское виски, голландский джин и удалились.

— Н-да, — протянул Федор Иванович, не сумев скрыть завистливого вздоха. — Деньга к деньге...

— Как тебе служится при третьем государе? — спросил Хомяков, напрочь проигнорировав подвздошную интонацию родственника.

— Дед и отец благоволили ко мне, а этот... Не знаешь, с какой ноги танцевать.

— Это при твоём-то опыте?

В тоне Романа Трифоновича слышалась неприкрытая насмешка. Генерал нахмурился, даже посопел. Раскочегарил длинную голландскую сигару, сказал приглушенно:

— Кшесинская и ее компания до женитьбы спаивали государя ежедневно. Алиса взяла его в руки, до смерти напугав отцовской внезапной кончиной, но прошлое распутство даром не прошло. То ли увлечение горячительными напитками, то ли — между нами, Роман Трифонович, только между нами! — удар самурайским мечом по голове. Царь слушается всех родственников одновременно. — Федор Иванович

помолчал, пригубил коньяк. — Великий князь Павел говорил своим конногвардейским приятелям, что в семье постоянные ссоры и царя никто не боится. Ты можешь себе представить, чтобы на святой Руси не боялись помазанника Божьего? Он бесхребетен. Может быть, пока.

— Однако в своем обращении к дворянам — так сказать, при заступлении в должность — Николай был достаточно суров. Я запомнил его выражение: «Свободы — бессмысленные мечтания».

— В первом тексте было — «преждевременные». Документ проходил через наше министерство.

— И вы, следовательно, его несколько поправили.

— Слово «преждевременные» заменил на «бессмысленные» лично дядя царя. Великий князь Сергей Александрович, ваш генерал-губернатор, дорогие москвичи.

Роман Трифионович задумчиво жевал сочную грушу, не потрудившись очистить ее от кожуры. Генерал усмехнулся:

— Почему тебя заинтересовала эта замена одного прилагательного на другое? Какая, в сущности, разница? Слова есть слова.

— В устах государя всяя Руси слова есть программа.

— У него нет никакой программы.

— Тогда он поступил необдуманно. Паровоз остановить невозможно. Раздавит.

— Это наши-то бомбисты-революционеры? Господь с тобой, Роман Трифонович.

— Я имею в виду промышленный капитал, Федор Иванович. Он не может нормально развиваться в условиях старой формы правления. А ведь только этот паровоз способен тащить Россию вперед. Казенные заводы делают пушки, но сталь для них поставляют частные фирмы и товарищества, следовательно, им нужно предоставить те же права, что и казенным предприятиям. И в первую голову уравнивать в налогах, а для малых и развивающихся частных фабрик непременно образом ввести налог льготный.

— Чтобы хозяева гребли миллионы?

— Чтобы поскорее дали продукцию и увеличили число рабочих. Разбогатеют — сами миллионы вернут.

— Страдуете вы своим, Роман Трифонович, — усмехнулся Олексин. — А казна пустеет. Одна коронация сколько миллионов вашему брату отвалит?

— Жить надо по карману, — буркнул Хомяков. — А мы — по амбициям. Великая держава, великая держава! Великая держава не та,

что может моим кумачом всю страну завесить, а та, в которой народ достойно живет.

— А традиции?

— А традиции, генерал, не в византийской пышности дворцов да церквей. Они — в скрытой теплоте патриотизма, как сказал граф Толстой. Скрытой, подчеркиваю, русской. Застенчивой, если угодно. Кстати, где Василий Иванович?

— В Казани. Толстовщину проповедует. Совсем некстати, между прочим.

— Чем скромнее вера, тем больше от нее проку.

— Вера у нас — православная.

— Вера не нуждается в прилагательных, если она вера, а не суесловие, Федор Иванович.

— Уж не толстовец ли ты, Роман Трифонович?

— Я человек практический. — Хомяков раскурил новую сигару, усмехнулся: — Опять пикируемся.

— По семейной традиции, — улыбнулся Олексин.

— Скорее по способу передвижения. Я еду на своем паровозе, а ты трясешься на казенной тройке с бубенцами.

— У меня же нет твоих миллионов.

— Свои миллионы я сделал сам, дважды начиная с нуля. Впрочем, дело не за миллионами и

не за казенными тройками. Дело за людьми, способными к самостоятельным решениям и личной ответственности. И они придут. Придут в грядущем веке, Федор Иванович. Вот за них и содвинем бокалы.

И звонко чокнулся с генералом.

2

После признания сестре, обморока и слез Надя окончательно пришла в себя, вернув и прежнюю улыбку и лукавые глаза. Самая пора была приступать к ранее оговоренной программе: приемы, званые вечера, балы. Однако Надежда категорически от всего отказалась:

— Я начала роман. Сейчас не до развлечений.

И впрямь допоздна засиживалась в своем кабинете, что-то писала, но что — не говорила и тем более не показывала. Варвара пыталась расспросить горничную, но Феничка, таинственно округлив глаза, строго твердила одно и то же:

— Говорит, созрел. Этот... замысел.

Особо доверительные отношения, сложившиеся между Наденькой и Романом Трифоновичем, предполагали искренность, и Хомяков пошел к Наде за разъяснениями.

— Никакой роман ты не пишешь, не обманывай меня, Надюша. Если дело и впрямь в

новом романе — житейском, я имею в виду, — так скажи. Я пойму и отстану.

Надя невесело улыбнулась:

— Вероятно, дело не в романах, а в их отсутствии, если уж говорить правду. Только не посвящай в этот разговор Варю, очень тебя прошу.

— Так разговор-то как раз пока и не получается.

Наденька молчала, покусывая губки и не поднимая глаз. Роман Трифионович обождал, вздохнул, погладил ее по голове и сказал:

— Маменьки с батюшкой у тебя нет, Надюша, и выходит, что я твой самый близкий друг. А другу в жилетку принято плакаться.

— Плакаться я не собираюсь, дядя Роман.

— Прости, не то словечко выскочило. Но поделиться тем, что тебя тревожит, ты можешь?

— Это как-то... — Надя беспомощно улыбнулась. — Странно прозвучит.

— Я постараюсь понять.

Наденька долго не решалась, избегала смотреть в глаза, неуверенно улыбалась. Потом вдруг постучала правым кулаком в левую ладонь, собралась с духом и выпалила:

— Почему влюбляются не в меня, а в моих подруг?

Роману Трифионовичу понадобилось немалое усилие, чтобы сохранить серьезное выражение

лица. Но он сразу понял, что огорчает его любимицу, сообразил, как проще всего развеять эти огорчения, но начал почему-то как бы издалека:

— Твоя матушка влюбилась в своего барина, твоего отца, когда ей было четырнадцать, а ему — за тридцать. Машенька, царствие ей небесное, была младше своего избранника Аверьяна Леонидовича Беневоленского на добрых десять лет. Да и я, сама знаешь, тоже на десяток постарше Вареньки. Стало быть, это у вас в крови, дорогие сестрички Олексины. Ты ведь тоже не теряла головы от подпоручика Одоевского. Так, самолюбие тешила, разве я не прав?

Надя пожала плечами и улыбнулась.

— А причина в том, что ты просто умнее своих сверстников. Их сейчас на глупышек тянет, что тоже понятно, потому что самолюбие щекочет.

— Ждать, пока поумнеют?

— И слава Богу. Каждому цветку — свое время цветения. Плюнь на все и жди своего часа. По рукам, что ли?

— По рукам, дядя Роман, — Наденька невесело вздохнула. — Только Варе ни слова.

— Ни полслова, Надюша, — улыбнулся Хомяков. Однако полслова жене все же сказать пришлось, поскольку о беседе наедине Варя узнала от своей горничной Алевтины. Женщины преданной, но довольно пронырливой и постной.

— Что сказала Надя?

— Не получился у нас разговор.

— Даже у тебя? — Варвара озабоченно вздохнула. — Может быть, Николая попросить?

Однако призвать на помощь Николая оказалось делом затруднительным, да и не совсем корректным. Мало того, что он был по горло занят по службе, в семье родилась вторая дочь, названная Варенькой в честь крестной матери. А первая, Оленька, часто болела, и тут уж было не до развлекательных программ Варвары.

Однако Хомяков, прекратив лобовые атаки, неожиданно предпринял обходной маневр, и добровольный затвор разочарованной писательницы все же удалось нарушить.

— Во вторник Федор просил принять весьма нужного ему господина, Варенька, — сообщил как-то Роман Трифионович. — Я рад этому обстоятельству, поскольку немного знаком с ним.

— Чем же он тебя очаровал?

Муж с женой разговаривали наедине, но Роман Трифионович счел необходимым оглянуться и понизить голос:

— Ему очень понравился Надюшин рассказ.

— Он издатель? — оживилась Варвара.

— Нет. Он действительный статский советник, но Федор связан с ним какими-то служебными отношениями. Человек весьма и

весьма достойный. Даже более чем.

Последний аргумент был настолько несвойствен Хомякову, что Варвара приподняла брови:

— Он пожалует с супругой?

— Представь себе, он старый холостяк.

— Очень старый?

— Когда о мужчине говорят «старый холостяк», имеют в виду не возраст, а семейное положение. Умен, образован, с приличным состоянием и отменно воспитан.

— Боюсь, Надежда заартачится, — сокрушенно вздохнула Варя.

— Уговорю! — заверил Хомяков.

Роман Трифионович уговорил Наденьку довольно просто, потому что знал безотказный аргумент:

— Мне этот визит нужен, Надюша.

— Ради тебя, дядя Роман, я готова на любые знакомства, — улыбнулась Надя.

В назначенный вторник в уютной малой гостиной собрались старшие: Варя, Хомяков, генерал Федор Иванович. Ждали семи, и с боем часов в гостиную вошел дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо.

— Его превосходительство господин Вологодов Викентий Корнелиевич! — торжественно возвестил он.